



# НОВАЯ ПОЛЬША 11/2004

## Содержание

1. ВЕНОК ПОЛЕГШИМ
2. ПОГИБШИЕ ПОЭТЫ
3. СТИХОТВОРЕНИЯ
4. ИЗ ДНЕВНИКА
5. СТИХОТВОРЕНИЯ
6. СТИХОТВОРЕНИЕ
7. ХРОНИКА (НЕКОТОРЫХ) ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ
8. КАТОЛИЧЕСТВО ОБРАЩАЕТСЯ В ХРИСТИАНСТВО
9. НЕУСТАРЕВШАЯ ТЕМА
10. К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВИТОЛЬДА ГОМБРОВИЧА
11. БЕСПОКОЙНЫЙ ДУХ
12. СТИХИ
13. ВЫПИСКИ ИЗ КУЛЬТУРНОЙ ПЕРИОДИКИ
14. ЛЕТОПИСЬ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

## ВЕНОК ПОЛЕГШИМ

В эти дни, в эти первые недели после кончины Милоша (пишу в сентябре) естественно начать статью с цитаты из него – правда, так оно и было задумано, когда поэт еще был жив. Его смерть заставила отложить статью о "двадцатилетних варшавских поэтах", которую я первоначально хотела отдать в номер, посвященный 60-летию Варшавского восстания и оказавшийся наполовину посвященным памяти Милоша – очевидца восстания. Теперь она выходит уже и после годовщины подписанной повстанческим командованием капитуляции... Выходит в ноябре – том месяце, где у католиков день Поминовения Усопших (а у нас – Дмитриевская родительская суббота, тоже поминовение усопших).

За капитуляцией Варшавского восстания, как известно, последовали несколько месяцев систематического разрушения столицы непокорной страны. С детства мне запомнились кадры из фильма "Непокоренный город": немцы с огнеметами, движущиеся от дома к дому (теперь разрушение Варшавы вы можете увидеть в "Пианисте" Полянского)... А позже – смешная и горькая карикатура Збигнева Ленгрена: один уцелевший дом в пролете двух рядов руин – и послевоенный чиновник, указывающий на него со словами: "Вот здесь мы проложим улицу!"

...Но начнем все-таки с Милоша:

*В наш век есть то, чего не увидали*

*Двадцатилетние варшавские поэты, –*

*То, что идеям сдается, не Давидам*

*С пращю. (...)*

*Стояла раненая Богоматерь*

*Над желтым полем и венком полегших.*

*Те юноши растерянно касались*

*Стола и стула утром, словно в ливень*

*Нетронутый находишь одуванчик.*

Для них дробились в радугу предметы,  
Размытые, как в отошедшем прошлом.  
Возможность славы, мудрости, покоя  
Они своей молитвой отвергали.  
Все их стихи – о мужестве молебен:  
"Когда мы будем изгнаны из жизни,  
Наш дом золотой, в постель из малахита  
Ты на ночь нас – на вечную – прими".  
И ни один герой у древних греков  
Не шел на битву так лишен надежды,  
Воображая свой бесцветный череп,  
Откинутый ботинком равнодушным.  
Поляком или немцем был Коперник?  
У памятника пал с венком Боярский.  
Должна быть жертва чистой и бесцельной.  
Тшебинский, этот новый польский Ницше,  
Шел на расстрел со ртом, залитым гипсом,  
Запомнил стену, медленные тучи,  
Секунду глядя черными глазами.  
Бачинский пал ничком, лицом к винтовке.  
Восстание спугнуло голубей.  
Строинский, Гайцы были внесены  
В багрянец неба на щите разрыва.

("Поэтический трактат")

Об этих юношах, "двадцатилетних варшавских поэтах",  
"Давидах с пращой", рассказывала я в Москве году в 73-74-м  
нескольким десяткам старшеклассников из 2-й  
математической школы. Знаменитой школы, где еще незадолго

до того, до своей вынужденной эмиграции, преподавал мой друг Анатолий Якобсон и куда меня позвали рассказать – как было сказано, о чем я захочу. Например об Ахматовой. Звал меня туда человек отчаянный, учитель математики и будущий политзэк Валерий Сендеров. Не будучи такой отчаянной, я решила, что выступление об Ахматовой, с чтением отрывков из ненапечатанного в СССР "Реквиема" и ненапечатанного же эпилога "Поэмы без героя" – а иначе не стоило и разговор заводить, – может оказаться опасным для школы: оттуда уже и так выметали былой либерализм. (Это было после того, как там разогнали половину учителей и в "Хронике текущих событий" появилась заметка "Конец Второй школы".) И стала готовить "своих поляков": по крайней мере тема мало кому в те времена в нашей стране известная, да еще, как я надеялась, интересная ребятам, которым было всего на несколько лет меньше, чем героям моего повествования. Тут мне позвонили и сказали, что, пожалуй, лучше все-таки провести эту встречу не в школе, а дома у учительницы литературы. И то верно: мое имя тоже могло произвести на школьное начальство, мягко говоря, неблагоприятное впечатление.

То, что я рассказала в тот вечер школьникам в, как мне помнится, полуподвальной квартире неподалеку от Зубовской (и от печальной памяти Института Сербского), где входящих встречала большая фотография Солженицына на стене, сжато изложено в моем комментарии к переводу "Поэтического трактата" (1959, перевод – 1982):

"В 1943 г. Третий Рейх торжественно праздновал 400-летие со дня рождения „великого немецкого ученого" Николая Коперника. В знак протеста молодые поэты из группы „Искусство и нация" решили возложить венок к памятнику Коперника. Памятник охранялся – именно во избежание манифестаций польского патриотизма. Венок возложил Вацлав Боярский, Здислав Строинский делал фотографии, Тадеуш Гайцы с пистолетом прикрывал акцию. Уходя от погони, Боярский наткнулся на патруль и был смертельно ранен – он умер в тюремной больнице. Арестованный Строинский успел уничтожить пленку, а затем и доказать, что он, провинциал, в Варшаве оказался случайно и ни к чему отношения не имеет. Освобожденный через несколько месяцев после ареста, он погиб в 1944 г. во время Варшавского восстания в один день с Гайцы. Анджей Тшебинский, поэт, прозаик и драматург, был в первую очередь теоретиком этой группы, патриотизм которой доходил до великопольского шовинизма и имперской идеологии и приводил к проповеди утилитарного искусства. В 1943 г. Тшебинский попал в облаву и был расстрелян в развалинах

варшавского гетто. Чтобы расстреливаемые не могли кричать, им заливали рты гипсом.

Кшиштоф Камиль Бачинский (не примыкавший к группе „Искусство и нация", но так же, как и вышеназванные поэты, боец Армии Крайовой) был, несомненно, самым многообещающим поэтом этого поколения. После смерти его сравнивали с Юлиушем Словацким. Все эти поэты погибли в возрасте 22–23 лет. Милош во время оккупации хорошо знал всю эту молодежь, составлявшую, как и он, часть подпольной культурной жизни Варшавы. (Многие страницы дневника Тшебинского посвящены полемике с Милошем: идейное несогласие борется с восхищением.) В 1958 г. Милош написал стихотворение „Баллада"... " – далее в комментарии следовали отрывки из стихотворения, которое я теперь перевела целиком – см. "Новую Польшу", 2004, №9.

Но тут, наверное, надо объяснить, как и почему собственно пришла я к этой теме – не с потолка же я ее взяла, заменяя ею рассказ об Ахматовой.

В конце 1950-х – первой половине 1960-х польский язык для многих моих ровесников стал прежде всего "окном в Европу": по-польски читали еще не изданных по-русски Кафку, Фолкнера и других европейских и американских писателей (в СССР, правда, Кафка был уже издан, но, увы, только по-эстонски). Я же почти сразу, едва научась – да и не научась еще, а научаясь – толком читать, погрузилась в польскую литературу и новейшую историю. (Конечно, нужно сделать оговорку: все, что я читала, прошло двойную цензуру: сначала издательскую в ПНР, затем – советскую при покупке товара в магазин книг стран народной демократии – он еще не назывался "Дружба". Но эта последняя все-таки частично полагалась на то, что прямой антисоветчины польские цензоры не пропустят (они и не пропускали), а издательская цензура в ПНР все же была несравнима с советской. Шли 60-е годы, и если о Катыни в Польше ничего нельзя было публиковать, то о Варшавском восстании 1944 г. – уже можно.)

Думаю, отчасти влияло польское же кино: "Канал", который мне случайно удалось увидеть во время фестиваля молодежи в 57-м году, "Покушение", да и первые польские послевоенные фильмы, почему-то не получавшиеся вполне по-советски соцреалистическими: вышеупомянутый "Непокоренный город", "Последний этап", "Запрещенные песенки"... Из фильмов конца 50-х "Настоящий конец большой войны" вышел в советском прокате под идиотским названием "Этого забыть нельзя", и никто на него не шел – не пошла и я

(посмотрела много лет спустя). А название фильма знала - из польских журналов, так же, как знала по кадрам в этих журналах "Пепел и алмаз", вышедший у нас только в 1965-м, через год после того, как я прочитала роман Анджеевского, на котором окончательно научилась читать по-польски, и за год до того, как этот роман наконец вышел в русском переводе. Дата появления романа по-польски - 1946, дата выхода фильма в Польше - 1958.

Роман - как я поняла куда позже, во многом лживый - показывал историческую обреченность главного героя, бойца Армии Крайовой, с приходом "народной власти" уходящего в вооруженное подполье. Картина - вышедшая тогда, когда АК перестали называть "шутлом гороховым реакции", когда отсидевшие аковцы вернулись из тюрем, а в полусвободной оттепельной прессе встал вопрос о пересмотре роли АК и оценки Варшавского восстания, - смещала акценты: герой был обречен, да, но это была трагедия, и все чувства зрителя - советского зрителя середины 60-х - были на его стороне. Когда Мачек, молодой Збигнев Цыбульский, в финале фильма шел, точнее волочился, зажимая смертельную рану в живот, последними силами цепляясь за жизнь, за чье-то белье на веревке, оставляя на нем кровавые пятна, я корчилась, сама хваталась за живот, как будто была ранена вместе с ним. А Мачек был ровесником "двадцатилетних варшавских поэтов", бойцом АК, как они, только их трагический конец наступил раньше, и им не пришлось разбираться с послевоенной действительностью.

Одного из этих поэтов, как раз выжившего - и по-своему трагически погибшего в разборках с послевоенной действительностью, - не упомянутого Милошем в "Поэтическом трактате" (зато язвительно проанализированного в "Порабощенном уме"), я уже знала - сначала прозу, потом стихи. Тадеуш Боровский написал об Освенциме, как позже Шаламов о Колыме. То есть как никто другой. (Да только Боровского я прочла раньше, чем Шаламова.) Но Освенцим, куда он попал умышленно, вслед за арестованной невестой, спас его от гибели в Варшавском восстании. И о нем я тоже говорила в тот московский вечер, примеряя его судьбу на погибших поэтов, размышляя о том, что было бы с ними...

Но я еще не кончила о том, почему я так прикипела к этому периоду новейшей польской истории. Тут было острое - куда острее, чем в отношении более далекого прошлого, разделов, восстаний, - чувство личной исторической вины. Пусть не говорят мне, что исторической, национальной вины не

существует, а существует лишь ответственность каждого за то, что он сделал или не сделал. Я отвечу, что никто не может возлагать историческую вину на отдельного человека, но если уж отдельный человек ее испытывает, сам берет ее на себя, то это его эмоции и его право. Мое право. Потому-то я написала уже в 70-е: "Это я не спасла ни Варшаву тогда и ни Прагу потом". Варшаву - в 44-м, Прагу - в 68-м.

Но не только 44-й. Одно из моих первых детских воспоминаний: 1940 год, я уже научилась читать и читаю в газете крупный заголовок "Первая годовщина освободительного похода Красной Армии в Западную Украину и Западную Белоруссию". В свои четыре года я, конечно, и не сомневалась, что это был "освободительный поход". К 60-м годам я уж точно знала, что это не так, хотя об этом не говорилось ни в каких книгах, которые я читала. Правда, протокола к "пакту Молотова-Риббентропа" мы тогда еще не знали: в самиздате он появился в 1968 году. Но что Советский Союз напал на Польшу, сражавшуюся на западе с Германией, было ясно и без этого.

Знала я и про Катынь. Темно, смутно - но, как позже верно сказала одна моя знакомая (М.В.Розанова), чтобы убедиться в советской вине, достаточно было прочитать заключение советской комиссии, возлагавшей вину на немцев.

Ни в 1939-м, ни в 1940-м (год катынских расстрелов), ни в 1944-м я, конечно, не могла нести ответственность за совершённое руками "партии и правительства", но чувство вины - не предмет судебного рассмотрения, оно не просит вещественных доказательств, оно возникает (или не возникает). Вот, может быть, главный корень того, откуда взялась "моя Польша" и мой пристальный интерес к АК и Варшавскому восстанию.

И еще один отклик на статью до ее публикации, от Нины Горлановой из Перми: "В мае этого года я ездила на съезд Союза российских писателей в Смоленск, и мы были в Катыни. Все там неостановимо плакали, жалея поляков и своих тоже (свои-то и не все похоронены). Мы раньше про Катынь знали, конечно. И про то, как наша страна предала Варшавское восстание в 44-м году".

На том московском вечере я ставила ребятам пластинки. Две. Одна из них - Эвы Демарчик. Она пела песни композитора Зигмунта Конечного на стихи польских поэтов - тот редкий случай, когда я не побоюсь сказать "пела поэзию". Среди исполняемого были "Дожди" на стихотворение Кшиштофа

Камиля Бачинского и еще одна песня, называвшаяся "Стихи Бачинского" – монтаж фрагментов из нескольких стихотворений. Обе меня заворожали. Я следила за "Дождями" по тексту, выискивала строки и строфы, использованные в "Стихах Бачинского". Впервые я начала не только глазами читать, но и действительно воспринимать иноязычную поэзию. Я ставила пластинку своим друзьям – и их тоже потрясал ее голос, ее интонация, – и пыталась пересказывать, о чем она поет.

Я стала искать все, что можно прочесть о Бачинском, о его времени, его поколении. Знаменитыми стали слова одного известного критика (Станислава Пигоня), сказанные другому (Казимежу Выке) при известии, что Бачинский вступил в штурмовые группы АК: "Что ж, мы принадлежим к народу, судьба которого стрелять по врагу бриллиантами". Сравнивая после войны Бачинского со Словацким, отмечали, что если бы Словацкий погиб, как Бачинский, в 23 года, то от него не осталось бы такого наследия. О Кшиштофе Камиле (второе имя родители дали ему в честь Норвида, автора стихов о "пепле и алмазе") можно не иронически сказать, что он и жить торопился, и чувствовать спешил. Разглядывая фотографии, я попросту влюбилась и в Бачинского, и в его такую же юную жену Барбару – тоже погибшую в Варшавском восстании: она была смертельно ранена 26 августа и умерла 1 сентября – с подпольно изданным сборником стихов мужа в руках. Сам Бачинский погиб 4 августа.

Надо сказать, что о Бачинском, как показали мои розыски (но это, пожалуй, было уже как раз когда я готовилась к своему выступлению перед школьниками), писали и в СССР. Одна статья о нем называлась "Солдат, поэт времени бурь". У Бачинского есть строка о себе: "Солдат, поэт, времени пыль", – советский славяновед, умышленно или неумышленно, перепутал "burz" (бурь) и "kurz" (пыль, прах), а чтоб было понятней, переставил запятую. Между тем эта олицетворенная в поэте "пыль времени", возвращающаяся у Бачинского и как "куж", и как "пыл" (притом на рифмах – он вообще, что странно и трудно для польской поэзии, любил мужские рифмы), стоит нашей "лагерной пыли".

"Дожди" в своем переводе я тогда читала школьникам – прямо под голос Демарчик. Но я крутила им не только Демарчик. Я принесла еще пластинку с записью спектакля варшавского Классического театра "Не приду к тебе сегодня", монтажа песен времен войны, который я видела в 69-м году в Москве на сцене Малого театра. Знающие люди потом говорили мне: "Это же



мочаровцы!.." (польские национал-коммунисты, названные так по имени члена политбюро ЦК ПОРП, министра внутренних дел Мечислава Мочара, одного из организаторов и вдохновителей подавления студенческих волнений 1968 года и последовавшей за этим антисемитской и антиинтеллигентской кампании). Но московский зал видел и слышал только одно: вот они, поляки, угнетенные, но не задавленные, не побежденные. Да, конечно, в спектакле (когда что-то об этом знаешь) больше были слышны песни малочисленной Гвардии и Армии Людовой, организованной коммунистами, но где-то вдали, краешком раздавались и "Алые маки на Монте-Кассино" (уже знакомые советским зрителям по кинофильму "Как быть любимой"), в полную силу звучал аковский "Марш Мокотова" – гимн Варшавского восстания, и залихватски разливалась песня ударных батальонов "О Наталья" Вацлава Боярского. Она была посвящена невесте Боярского Халине – "Наталье" по подпольному псевдониму. Боярский, как Мачек в "Пепле и алмазе", был смертельно ранен в живот (25 мая 1943) – они обвенчались в больнице, жена оставалась возле него до самой смерти, до 5 июня. Они были еще моложе, чем Кшиштоф и Барбара. Халина Боярская после восстания осталась в живых.

"Я должен тебе показать свою последнюю песню, – сказал он мне перед самым отъездом на лечение в Закопане, – такую слегка шутильную. О Наталье".

Так приводит слова Боярского Анджей Тшебинский в статье "Воспоминание о друге". Потом друг вернулся из Закопане с готовой песней на свою же мелодию.

"Наступал вечер. Мы везли на рикше какой-то груз нелегальной литературы. Асфальт и горящие высоко, под небосводом, фонари. Он рассказывал про Закопане. Вдруг вспомнил. „Есть, – крикнул он, – могу ее тебе спеть целиком". Речь шла, разумеется, о „Наталье". Он пел вполголоса. Асфальт и фонари высоко под небом. И нелегальщина – неизвестно зачем во всем этом".

Были в том спектакле, который я увидела в 69-м году (а пластинку купила уже после 72-го, после своего освобождения) и песни на стихи Гайцы и Тшебинского. Тадеуш Гайцы не оставил такого богатого и зрелого наследия, как Бачинский (да и был годом младше), но в его последних стихах – уже не только обещание.

*Когда цветут сирени – ты принеси сирень,*

Но не мешай уйти мне в прекрасный майский день.

Ты приросла мне к сердцу, приклад к руке прирос,

И я тебя с винтовкой навек в поход понес.

Припев:

Поход ударной группы и мой (и мой, и мой).

Так в солнечное утро мы песню запоем.

Землей славянской мягкой легко идти на бой –

Империя возникнет, когда мы кровь прольем!

А если будет лето – дай колос мне золотой,

Как ты, согретый солнцем, горячий, налитой, –

И хоть бы не вернулся к тебе я цел и жив,

Я нес в твоих колосьях славянских запахов жнив.

Припев.

А если будет осень, калины мне нарви,

Но не целуй, родная, обратно не зови.

Ты приросла мне к сердцу, приклад к руке прирос,

И я тебя с винтовкой навек в поход понес.

Припев.

Несу я на границу сирень, калину, рожь –

Из них граница будет – любовь несем, не кровь,

Граница из любви на дне солдатских душ,

Край родины ложится, где в горле сводит дух.

Припев.

В спектакле эта песня звучала (и звучит на пластинке) не совсем так. Вместо "А если будут сирени..." первой строки песня начинается – и называется – словами "А если будет весна..." (оба перевода здесь дословные). Вполне возможно, что это фольклорный вариант, где "восстановлен" полный

параллелизм зачина трех первых куплетов. Естественно, не звучал и припев в его "имперском" виде, но не исключая, что и в фольклоре этот сугубо идеологический и ненужный (даже неясный) рядовому партизану элемент пропал.

Гайцы и Строинский, по последним данным, погибли не в один день (как раньше думали): Строинский – 16 августа, Гайцы – 21-го или 22-го.

Гайцы стал редактором подпольного журнала "Искусство и нация", органа их "Культурного движения", после расстрела Анджея Тшебинского (который в свою очередь заступил на этот пост после гибели Вацлава Боярского). От Тшебинского после его страшной смерти с загипсованным ртом – он погиб, как и Боярский, в возрасте 21 года – остались стихи, пьеса, неоконченный роман, статьи, дневник. Тшебинскому – другу и политическому противнику – посвятил свой рассказ "Портрет друга" Тадеуш Боровский.

Так вот, что было бы с ними, останься они в живых? Может быть, неслучайно в спектакле, как-то связанном с "мочаровцами" (по-нынешнему говоря, "красно-коричневыми"), нашлось место мальчикам из "Искусства и нации". Некоторые их ровесники и единомышленники вполне вписались в "послевоенную действительность" (но я не знаю, легко ли, сразу ли и после каких испытаний, и поэтому не стану называть имен). Многие из них своей карьерой были обязаны Болеславу Пясецкому. Один из них в 68-м году, в самое погромное время, выдвинулся на ведущее место в Союзе польских писателей, но ему же, его книге об этом поколении, вышедшей еще в 1963 г., я обязана сведениями о молодых поэтах.

"Культурный империализм", который проповедовал Тшебинский, после войны входил в неплохую смычку с имперской идеологией соцлагеря, но у кого-то его мог пересилить польский патриотизм, и тогда юноши могли уйти "в лес", воевать, выйти по объявленной для подполья лживой амнистии – и попасть в тюрьму, или не выйти – и быть застреленными в бою или расстрелянными в застенке. Мы никогда не узнаем, что случилось бы с каждым из них, но не воображать себе эти страшные дилеммы судьбы я не могу. В войну все было проще: выбор был один.

А что было бы с Бачинским?

Об этом, оказывается, думала не я одна. В 1980 г. Вислава Шимборская написала стихотворение "Средь бела дня".

Привожу его в своем переводе:

В дом творчества в горы ездил бы он,

к обеду в столовую спускался бы,

на четыре ели с ветки на ветку,

не отрясая с них свежего снега,

из-за столика у окна поглядывал бы.

С бородкой, подстриженной коротко,

лысоватый, в очках и с проседью,

с огрубевшими, усталыми чертами лица,

с бородавкой на щеке и морщинистым лбом,

словно ангельский мрамор облепила глина –

а когда так случилось, и сам бы не знал,

потому что не махом, а по чуточке

повышают цену тем, кто раньше не умер,

и он тоже эту цену платил бы.

О мочке уха, задетой осколком

– когда на мгновенье голова отклонилась, –

"чертовски повезло", говорил бы он.

Дожидаюсь бульона с макаронами,

газету с сегодняшней датой читал бы он,

большие заголовки, маленькие объявления,

или по скатерти барабанил пальцами,

а ладони были бы давно немолодые,

с растресканной кожей и толстыми венами.

Иногда от порога кто-то позвал бы:

"Пан Бачинский, вас к телефону!" –

и ничего тут не было бы странного,  
что это он, и что он встает, одергивая свитер,  
и не спеша направляется к двери.  
Разговоров при виде этого не прерывали бы,  
Замерши и затаив дыхание, не застывали бы,  
потому что это обычное событие – а жаль, а жаль –  
так обычным событием и считали бы.

Да, так и считали бы. Но "обычного события" не произошло,  
"чертовского везения" не было. И все мои спекуляции – на  
пустом месте. И все-таки думаю, что в партийные писатели он  
бы не попал: националистом, тем более шовинистом, он  
никогда не был, и идти в партию, чтобы "замаливать грехи", не  
было бы нужды; не был он, выросши в семье польского  
социалиста, и слишком левым, чтобы кинуться в объятия  
новой идеологии. Судьба Милоша? Сначала почет выжившему  
крупному поэту (вплоть до дипломатического поста), потом  
эмиграция? Судьба Херберта? Отказ печататься в  
прокоммунистических изданиях и первый сборник стихов в  
56-м году? Или, как у Шимборской, тихая жизнь, с изредка  
выходящими книгами – может быть, с траурным панегириком  
Сталину, как то случилось со многими уважаемыми поэтами? А  
потом, в более или менее вегетарианские времена, – дом  
творчества в горах, в том самом Закопане, откуда Вацлав  
Боярский привез свою песню о Наталье? Все варианты  
возможны – и все, увы, невероятны.

Остается эпитафия всем погибшим – написанная тем, кто  
погиб позже, не вместе с ними и не от вражеской, а от своей  
руки. Написанное в Варшаве, в 1942-м, еще до Освенцима,  
стихотворение Тадеуша Боровского "Песня" (перевод Леона  
Тоома, опубликован в: Современная польская поэзия. М.,  
"Прогресс", 1971):

Оглохли звезды в небесах –  
Язык сраженья им неведом.  
Ты вспомнишь о своих рабах –  
О нас, грядущая победа?  
Железный лязг среди степей

И топот ног, а мы все старше.  
Ревет голодный Колизей,  
Илотов чествуя на марше.  
Знамена вражды, братский зов,  
И песня париев, и вера,  
Фальшивый грош, кривая мера,  
Качанье вечное весов.  
Но остается прочность плеч:  
Не зря, не зря мы топчем камни,  
Не зря в бою сжимаем меч  
Окровавлёнными руками.  
Не зря – опять навывлет грудь  
И смерть с недвижными глазами:  
Илот опять выходит в путь,  
Пока торгош гремит весами.  
Как труп на поле боевом,  
Лиловы небеса в потемках.  
Что мы оставим? Ржавый лом  
И смех язвительный потомков.

Тадеуш Боровский

# ПОГИБШИЕ ПОЭТЫ

Вы сожжены, вы расстреляны, вы  
безмолвны,

мои товарищи юности, я пишу вам.

Текут и текут над вами земные волны,  
шумят — зеленым шумом.

В темных земных пучинах полузамерзших  
пусто, недвижно, немо в загробном мире —  
где же такая боль, чтобы губы мертвых  
заговорили?

Ночь, над стволами, из вас растущими,  
высясь,

вихрем шумит, будто все же еще зачем-то  
ваши уста, на которых земля да известь,  
слов ищут тщетно —

Поздно уже, слишком поздно связанным  
крепко

руки заламывать в бурях неугомонных.

Тщетно живых вы зовете в выкриках ветра,  
в горестных столах.

Тщетно, все уже тщетно. Вихрь клубится  
заблудший,

зовет травяная глубь, лугов замогильных  
зелья,

далее иду, под землю, глубже и глубже,  
к вам в подземелья.

Поздно уже, слишком поздно. И я умолкну,  
мину, кану в забвенье. В мертвых зеницах  
деревья колышутся, с иволгами, а волны  
ослепших земных потоков будут струиться  
—

И мы, привыкнув к папоротниковым  
корневищам,  
к корням берез, к гущине малины дичайшей,  
плывем, умолкнув, куда? и чего мы ищем?  
дальше, дальше — —

*Перевел Владимир Британишский*



# СТИХОТВОРЕНИЯ

## МОЛИТВА (I)

Плетьми — руки, бденья — прахом!

И что могу под этим небом,

где черен дым и глухи орды

гонимых голодом и страхом?

Не утолен ни сном, ни хлебом

и брошен Господом, как мертвый, —

что я могу под этим небом?

Не именуй по-человечьи:

мне очи выело позором,

и зло горит на мне печатью,

а мир не садом дышит — мором,

и плаха ждет, а не объятие.

Не именуй, но в Божьем слове

сомкни уста мои, даруя

хоть песню, чтоб не гробовую,

хоть шлем, чтобы не залит кровью.

Не пресвятивши в адской печи,

не именуй по-человечьи.

Лиши плетей, что камень ранят,

и прежде чем нездешней силой

сдерешь песок, приросший к векам, —

чтоб не чернеть лицу могилой,

когда оно в Тебе предстанет,  
дай хоть погибнуть человеком!

Июль 1942

*Перевод Бориса Дубина*

## **СНОВА ОСЕНЬ**

И вот уже осень. Птицы как будто руки —  
прощальные руки неба — над злою землей.  
Заплачемте, ах, заплачем, пока не стали золой  
мы, грустные, одинокие, не названные при свете.  
Уже сатана или Бог показал нам и кровь, и сталь  
в городах, над которыми медленный дым —  
будто усталый ангел над колыбелью смерти.  
Уже этот нож прижатый в самое сердце вращал,  
так долго он был у груди, а развалины говорили,  
и каждое мертвое дерево тоже пело:  
«Обернешься — и в прах обернешься, беспечное тело».  
«Хоть что-нибудь есть, кроме тьмы?» — спрашивали мы плача,  
плача в мертвой столице, поруганной и безмолвной,  
и мы стояли во тьме, и не встретились наши руки,  
а взгляды были видны только при свете молний.  
И только ветер гремел на могилах последних улиц,  
и бессильные вьюги садились скалам на плечи,  
и мы были будто сумрачные, неверные речи,  
и мир соскальзывал с век, как звезда или как слеза.  
Как землю узнать глухую? и как назвать континенты,  
где полумертвые дети, как полусонные старцы,

уже забывают слова, еще не поняв значенья,  
и страны, где никогда не услышишь речи,  
и руки, все до единой — словно морозные клещи?  
И вот уже осень. Деревья шумят и плещут,  
снасти умершего дома, крылья умершего сна,  
будто и не они встают над разрубленной головою,  
будто и не было сотен растоптанных рук.  
И рядом идет человек, ах, человек ли? глаза не видны —  
так — обожженный ствол, снова забывший небо, —  
и на гнилой соломе кричит, отгоняя сны,  
когда к нему ангелы входят и ждут — молчаливы, грустны.

12 сентября 1942 г.

Варшава

*Перевод Георгия Ефремова*

### ДОЖДИ

Седые стебли, серый шум в окне,  
а с улиц тянет горестью и смертью.  
Твой дождь любимый — об одной струне,  
желанный дождь, подобный милосердью.  
Все дальше поезда и долог-долг  
их путь — не твой? ну что ж? не твой —  
к озерам слез в осенних долах  
с остеклянелою листвой.  
И стоит ждать? И ждать ли стоит?  
Дожди — как жалость, в них и канем,  
и кровь и человека смоем

и воздух, вымощенный камнем.  
Все ждешь ты, бедное надгробье?  
А беглых лет письмо косое  
с лица сплывает исподлобья  
не то дождем, не то слезою.  
И что любовь, да не такая,  
и что слеза, и та впустую,  
и что одна вина другую  
опережает, окликая.  
И что удар не тронул тела,  
а лишь заглох, как птица в поле,  
и лишь душа осиротела,  
как от видения в костеле.  
растет во тьме стеклянный шорох —  
и отплывает мир окрестный.  
Уносят дальше все, кто дорог,  
чужую долю ноши крестной,  
еще кого-то не достало,  
еще одна невозвратима, —  
прильнут к окну как из металла  
и вновь, неузнанные, мимо...  
И дождь уносит, дождь их косит  
косой холодной и немою.  
Покроет тьмою — смое тьмою.  
Плесну рукой в колодце мрака,  
над темными ключами стоя,

и молча стыну, как собака  
под плетью голоса пустою.  
И не прикончен, и не начат,  
и не добит, и не обласкан,  
не знаю — дождь, душа ли плачет,  
что все для Господа напрасно.  
Стою один до ночи поздней.  
Лишь я и ночь. И капля, капля —  
все отдаленней, все бесслезней.  
Оконч. 21.11.43 г.

*Перевод Анатолия Гелескула*

## **ДВЕ ЛЮБВИ**

И вот полюбил ты хрупкое, теплое тело,  
что песнь соловьиную запечатлело  
иль молоко в стеклянном стройном кувшине;  
и скрипки грусть, и хор листвы — для этих линий.  
Ты полюбил и ставишь перед собою  
ручья течение голубое,  
чтоб два лица слились в одном движении:  
и подлинное твое, и отражение,  
укрыли землю огнем, небо — жасмином,  
хотя и тесно им в сердце едином.  
И землю ужаса ты полюбил тоже  
с огненными следами шагов Божьих,  
землю, где братья гибнут под огнепадом,  
где смерть и величье точно два грома — рядом

стоят и крыльями бьют, ибо видят диво:  
тех, что мертвы, и тех, что живы.  
Еще полюбил ты речек путь серебристый,  
и белые перышки мазовецкой Вислы:  
и горы, сошедшие на землю как тучи,  
и людей в неволе — ты с ними тут же.  
Когда раскаленная сабля с тобою,  
а ты — в ураганах последнего боя,  
когда в оружье как в жизнь верится  
и нету слез на лице и в сердце, —  
как пушинку, как песню бросаешь тело,  
бросаешь лицо, что в ручей глядело,  
чтоб стало единым, — не в тиши отраженным,  
а смерти черным крестом клейменным;  
ты знаешь — от Бога эта любовь досталась,  
для которой в могиле молодость промечталась.

22.V.1943.

*Перевод Марии Петровых*

\* \* \*

Золотой, с прожилком белый  
расколю я небосвод,  
пред тобой орехом спелым  
лопнет мир и оживет  
пеньем вод, листвой шумящей,  
птичий свист возникнет в чаще,  
млечное ядро рассвета

и восход.

Ты увидишь превращенье  
твёрдой почвы в мягкий луг,  
из вещей добуду тени,  
чей кошачий ход упруг,  
тень оденет шерстью мгlistой  
цвет грозы,  
сердечки листьев,  
ливнем станет вдруг.

И поток, воздушный, рея,  
как над райским кровом дым,  
станет длиною аллеей,  
запахом берез хмельным,  
и струной виолончели  
дрогнет пламя повители,  
пчел крылатый гимн.

Вынь из ока мне осколок —  
образ дней, где боль и страх,  
черепа белеют в долах,  
кровь алеет на лугах,  
отмени же время злое,  
рвы укрой волной речною,  
сдуй с волос мне пыль и порох,  
дней отпора  
черный прах.

15.VI.43 г

*Перевод Александра Ревича*

## **С ГОЛОВОЮ НА КАРАБИНЕ**

Круг сжимается, узкий и тесный —  
слышу я в предутренней рани,  
хоть крещен я в купели небесной  
и поток обточил мои грани,  
хоть меня через реки и кручи  
переправила, пусть не без риска,  
ветка дикой сирени и тучи  
улыбались мне по-матерински.

С каждым днем, с каждой ночью все ближе  
этот круг, нас за глотки хватая,  
а когда-то для нас колосилась  
нива тучная и золотая.

Голубиная юность хлестала  
из меня и срывала ворота.

На дне смерти теперь вырастаю,  
дикий сын своего народа.

Круг ножом рассекает, раня,  
срежет день он, и ветер минет,  
и просплю я время ваянья  
с головою на карабине.

Занесенный событий порошей,  
пополам разодранный кругом,  
как гранату, я голову брошу,  
лихолетьем загнанный в угол, —



оттого что жилось несмело,  
а смелел, когда пахло кровью.

Гибну там, где величье дела  
неразумной любил любовью.

4 декабря 1943 г.

*Перевод Бориса Слуцкого*

### СКАЗКА

Шли к рассохшимся палубам люди,  
шли с оружием и были грустны.  
небо звонче серебряной лютни  
откликалось дыханью весны.

Позади различали на судне  
крестный ход или, может, рассвет.

Мудрых лип терпеливые будни  
щебетали по-птичьи вослед.

А моря друг на друга кидало,  
жесткой шкурою терлась вода,  
что-то брезжило и пропадало  
через миг или, может, года.

Звезды жались к воде, как голубки.

И с борта к ним тянулись рукой,  
глядя вниз, в непроглядные глубы,  
с той улыбкой — ты знаешь, какой.

Распахнув побережья вратами,  
звали горы в зенит голубой.

В глубь небес они камни метали,

чтобы смерить ее под собой.  
На заоблачном сеяли рейде  
семя леса над зыбью морской,  
золотыми деревьями бредя  
с той улыбкой — ты знаешь, какой.  
И листвою их виденья оделись,  
и дубняк расшумелся рекой, —  
словно в сердце свое загляделись  
с той улыбкой — ты знаешь, какой.  
Ну, а плотник поглядывал в оба,  
чтобы каждому сладить свое —  
им душистые доски для гроба,  
а сыновьим ладоням — дубье.  
И ушли. Пело время иное.  
И ушли в белый дым пеленою  
с той улыбкой — ты знаешь, какой.  
23.VI.44 г.

*Перевод Анатолия Гелескула*

### **ИЗ ЛЕСУ**

Как шум озерный, ночные пущи.  
По мхам ступаешь, как по волне.  
Колонны мрака растут все гуще.  
Встревожил дали во тьме гнетущей  
зловещий возглас как бы во сне.  
Повозки, люди текут рекою,  
во мгле туманной то там, то тут

оружье звякнет, а под ногою  
вздывает волны земля, как море,  
и отголоски ползут в просторе,  
они тревожны — чего-то ждут.  
Стройные парни. Ясные лица.  
Сила подземная, темная сила  
сушу ломает, золото вскрыла,  
в панцире тесном земля томится,  
рвется наружу, гудит, гудит.  
Ясные лица! Круг окоема  
накрепко схвачен клещами армий.  
Как же ценою муки и крови  
выкупить землю, милые парни?  
Можно любить, но любить — это мало,  
можно погибнуть — явишь лишь слабость,  
юное тело в битве устало,  
а сила темная все гудит.  
Пуща все гуще. Пространство вбирает  
пастью огромной все на земле.  
Это — как будто сын умирает,  
это — как будто отец остается.  
Прошли, исчезли. Дым только вьется.  
Возглас зловещий во мгле, во мгле.

27.VI.44

*Перевод Александра Ревича*

\* \* \*

Когда, под ладонью брезжа, земля встает за ветрами  
и реют большие птицы над облачною куртиной, —  
беззвучно редет сумрак. И вот, прислонившись к  
раме,  
горит она заряницей и песенку напевает.  
И лентою издалека плывет ее теплый голос,  
доходит к нему в потемки и шепотом овеваает.  
«Родной», — не смолкает песня и над головою  
кружит,  
звенит волоска нежнее и так фиалками дышит,  
что он, наклонясь над смертью и стиснув рукой  
оружье,  
встает, запорошен боем, и — сам не поверив —  
слышит,  
как в нем запевают скрипки, и медленно, осторожно  
идет по лучистой нити пучиною тьмы крошечной,  
и вот она рядом, нежность, как облако, белоснежна, —  
и полнятся ею дали, и над тишиной тугою  
один только голос нежен и близок — подать рукою.  
«Родной» — не смолкает песня, и обнят он так  
приветно,  
так сильно, как не обнимут, лаская всего лишь тело.  
Ладони возводят землю за черным заслоном ветра,  
и скачут по ним зверята, чертясь паутинкой белой.  
И разливается утро. Заждавшийся холод стали.  
Безмолвье с гадючьим свистом клубится у изголовья.  
И сон обрывают слезы: винтовки загрохотали,  
а снилось им, что зачали дитя, залитое кровью.

13.VII.44 г.

*Перевод Бориса Дубина*

## ИЗ ДНЕВНИКА

*От переводчика:* Эти несколько отрывков взяты из того дневника Анджея Тшебинского, который он вел в последние полгода своей жизни (как пишет публикатор, он всюду носил его с собой, и на первой странице в конспиративных целях было написано «Дневник 1937 года»). Публикуемым отрывкам, связанным со смертью Боярского (9, 11.12), предшествуют записи о разгроме подпольной группы в Варшаве, аресте связанной Тшебинского Ивоны (о ней см. в тексте), гибели связанного с Тшебинским сельского командира. Два последних публикуемых отрывка (108–109) — вообще последние записи в дневнике. 109 — единственный во всем дневнике датированный — 23 октября 1943. Видимо, после этого Анджей больше не носил дневник с собой повсюду, и только поэтому тетрадь сохранилась.

Ноябрьский номер «Искусства и нации» открывался траурным объявлением:

«Незабвенный Станислав Ломень [подпольный псевдоним Тшебинского], редактор „Искусства и нации“, пал на службе польской культуре, расстрелянный на улице Варшавы 12 ноября 1943 года. Смерть его трудно заключить в слова, нам остается внутренний наказ проведения в жизнь его мыслей».

Читатель заметит, что в траурное объявление полностью вошла формулировка «пал на службе польской культуре», о которой Тшебинский пишет (см. в тексте дневника) как о части некролога себе, не написанного, но рассказанного ему — планировавшегося «на всякий случай» — еще живым Боярским. И хотя понятно, что вышеприведенный текст писал кто-то третий, можно предположить, что эти слова — полу в шутку, полусерьез — не раз повторялись в кругу этих юношей, каждый день ожидавших смерти. Своих друзей и своей собственной.

\*

\*      \*

9. Естественно: это переживешь, всё вообще, за исключением смерти, — переживешь, но как же в конце концов выйдешь! Кем выйдешь? Когда прожиты такие дни, такие эпохи в несколько дней, и без единой мысли под черепом. Чад, осевший на кости. Чем в это взглядеться? — никакая мысль сюда не

проникнет, — эпохи, целые дни призывания мысли. Что-то надо понимать. И ничего. Совершенно ничего. Только ночью не спишь и работаешь. Как обычно, якобы. Только с лица, темного, тяжелого, позволяешь ускользнуть улыбке. Что значит эта улыбка? Ничего. Знак. Попытка. Может, они это как-то поймут, может, как-то отзовутся, и уже не другой, своей собственной и в результате бессмысленной улыбкой, но — мыслью. Может, они в конце концов что-то подумают. Нас хватает на темную, незавершенную улыбку. Попросту брошенную...

Эти дни! Сна в глубоких креслах, населенных враждебными мне людьми. Или чужими, не враждебными. Такой жары. И во всем этом сознание угасания Вацлава. В жаркие дни — угасания. Я уже не видел его после того дня. Он был тогда такой естественный, обычный. Только то, что он говорил, было тревожно. Всею силой он искал своего стиля. Но этот стиль состоял в принудительном веселье, в кипении страстей... Уже в силу самого контраста прежних, «стильных» его слов, выговариваемых так слабо, — это выглядело страшно. Жена откинула одеяло. Целая половина тела в каких-то кровавых, разбухших от крови лоскутках. Она поднимала их целыми пластами. Волосы были откинута назад, он лежал скрючившись, неровно. В тот день, Боже, — все эти утренние поиски его, поиски его, эта боль и этот избыток воображения. А он в то самое время венчался с ней! Почти дословно на фоне смерти. (...)

11. Угасание Вацлава нашло конец. Нашло, потому что свою смерть надо именно отыскать, найти, ищешь ее еще до того. Он знал об этом лучше всех. Смерть по отношению ко всей этой бурной и неутолимой чудесности жизни — всего лишь наш приход к пристани обыкновенности. Мы совершенно естественны, как только перестаем существовать. Ты чувствовал это сам, друг мой. *Ex post*.

Я не пожал тебе руку, мой покойный друг. Между нами не закончилось просто. Там, где есть место дружбе, обычно нет места простоте. Не знаю, ты, может, вообще не назвал бы это дружбой. О, ты же не был таким обыкновенным, простым человеком, и у меня тоже были амбиции не быть простым человеком. Я искренен, Вацлав, у меня болит множество ран — поэтому я искренен. Ты ушел слишком таинственно, дорогой мой, слишком запутанно. Видимо, берег, к которому тебе было велено пристать, должен был полниться запутанностью. Скажи, видел ли ты в контуре этого берега — контур лика Его Самого? Ты же должен был видеть тогда удивительные и страшные вещи. Речь идет, видишь ли, о том, что так трудно и

так больно одновременно, так не по-университетски учились мы нашей жизни, что теперь, когда ты научился и смерти, я тебя спрашиваю, дорогой мой...

Видел ли ты тогда — Бога?

Я искренен, Вацлав, и пишу это, ибо знаю, что ты есть. Мы суть — по-прежнему, оба. Это никем не должно быть прочитано. Это выглядит безнравственно и может оскорбить — такое прощание с единственным другом. Но когда-то мы друг друга чуточку любили, потому что оба любили некий оттенок цинизма, и я верен этому теперь, как и ты сам, даже тогда уже, в больнице. Тебе можно теперь писать всё, потому что тебя нет в живых, потому что ты можешь смотреть на меня иначе. И я могу — нас, дорогой, не разделяет эта бурная и неутолимая жизнь. Между нами — спокойствие и хорошее настроение. Ты умер. Если бы вместо тебя умер я, если я еще умру — будет, было бы то же самое.

Знаю, тебе всегда импонировало, дорогой мой, умирание человека. Так же, как мне еще — несмотря ни на что — импонирует. Не знаю, насколько остро ты видел все в последний час. Тебе, кажется, было трудно дышать, дорогой. Но я знаю остроту зрения в минуту перед сном. Ты тогда, должно быть, очень много знал. Познал ли ты уже Бога? Ты все узнавал первым, немного раньше меня. Первым познакомился с комендантом, чем гордился. Первым познал Бога. Но меня тогда — всегда — как призрак — преследовала амбиция догнать тебя во всем. Не знаю... Догоню тебя и в этом.

Я обязан очень много обещать тебе, Вацлав. Одного меня на это хватит. Других хватит только на страдание. Нет, я не страдаю. Не умею. Уже не умею. Видно, жизнь нередко нас больше отучает, чем учит. Сегодня боль я испытываю уже только как форму усталости. Какая-то лишающая воли усталость всего, что в нас есть. Что во мне есть.

Я искренен. Не страдаю. Я обязан тебе за это очень многое клятвенно обещать. Но не сделаю даже этого. Не понимаю я тут себя, не знаю, Вацлав. Знаю только, что есть такой факт: никакой клятвы, никакого обещания.

Нас поглотит история. Молодых, двадцатилетних парней. Мы не будем Мохнацкими, Мицкевичами, Норвидами своей эпохи. Мы могли бы быть Рембо, но это мы отвергли, потому что шли дальше. Мы хорошо понимали друг друга, очень хорошо. Ты думал о себе как об исторической фигуре. Я тоже. Мы не были особым образом для истории позированы, нет, ведь наш жест



должен был возникнуть естественно, просто — как тень наших деяний.

Почему я тебе ничего не обещаю, дорогой?

Ах нет, обещаю. Просмотрю твою ненаписанную драму, тот первый акт, о которым ты думал тогда, возле Коперника, уже раненный. Просмотрю бумаги, которые остались от того короткого, бурного пожара, каким была твоя жизнь. Да, я рассчитывал — тебе предстояло просмотреть после моей смерти то, что от меня, как пепел от пожара жизни, осталось. Ты достиг смерти раньше, впереди меня.

Может, я ее достигну иначе, в поле, с оружием в руках. Позже, чем ты, но зато моя смерть — моя, а не твоя — станет символом нашего общего искусства, мысли, культуры? Символом смерти современного художника. Художника Империи.

Умирается очень легко, легче, чем ты, — от пулеметной очереди. Я пишу это отчасти как письмо тебе. Мне не везло в письмах, в переписке с тобой. Ты не получил — хоть я тебе и писал — ни одного. Да и этого тоже...

Не знаю, как это будет позже. Буду ли я о тебе думать. Знаю только, что мы очень близко друг к другу, что я в любой час могу догнать тебя одним прыжком, одной пулей в затылок. Поэтому не прощаюсь с тобой патетически. Так только, как каждый день. Как вечером каждого дня, когда мы заканчивали наши «циничные» рассказы о жизни. Ну да — только так, ничего сверх этого: привет. Привет, дорогой...

12. Ты умер, дорогой мой, взавраду, и я знаю, что меня ждет то же самое в моей смерти, не сон, не страдание, не образ умирающего, а оно само, само умирание. Настоящая смерть.

Я немного боюсь, что вопреки освоению с этой мыслью могу тогда несколько осрамиться. Что не умру так надежно, так безоговорочно, так крепко, как сегодня обещаю это себе. Что через сердце в такой миг может пролететь тень. Неизвестное. Удивление невыразимое, лишь ощущенное, безграничное, бездонное, такое только, какое бывает, когда увидишь Истину.

Но ведь и перед нашими авторскими вечерами нам случалось дрожать. Помнишь? И мне, и тебе. Потом мы преисполнились цинизма и перед этим: это опять-таки не было таким грозным, таким нервирующим.

Смерть — единственный и трудный авторский вечер. Помоги мне, умерший друг, в этот час. В эту секунду опасную. Отними у меня дрожь и дай гордость чувства...

Очень много вещей пропало, Вацлав, — в общем-то все было еще в нас, между нами. Столь ничего, столь до смешного мало — за нами.

Но я удивляюсь и пожимаю плечами, когда мне говорят: это любой ценой не должно погибнуть, пропасть, это нужно как-то...

Только раз за последнее время я употребил слова «любой ценой» — полностью это понимая. Раз, то есть тогда, когда посылал Ивоне в тюрьму приказ молчать: «Вы должны молчать любой ценой. Обо всем». Не очень, однако, знаю, не умолкла ли она в результате навсегда или еще жива. Были, говорят, массовые казни. Тогда — с Ивоной — я это понимал.

Но теперь не понимаю. Не понимаю. Мне очень больно, но я и взаправду не понимаю. Даже себя самого теперь... Вацлав дорогой, помнишь, как весело ты обещал мне перед моим планировавшимся уходом на ударную операцию прекрасный некролог в «Искусстве и нации». Помнишь ту нашу циничную радость, ту простоту? Некролог. Какой, Вацлав? Такой общепринято скудный, простой, по-мужски сухой, черный — и ничего больше? Редактор «Искусства и нации», второй редактор, пал от вражеской пули на посту, на службе польской культуры? Да, и ничего больше, Вац? (...)

108. Тревожное время. Акции и реакции. Казни групп по 20 человек на улицах города. Отсутствие Лавинской. О ней ничего неизвестно.

Понемногу пишу роман. Снова бываю у Анны. Быть может, это неверно. Как-никак, а я люблю эту женщину и думаю, что поведение в таких обстоятельствах — верное — не всегда можно бы назвать верным. Денег я лишен. Вообще отрезан от нормальной жизни. Потерял надежду хоть на какое-то жилье. Несмотря на это чувствую себя в хорошем настроении — это не настрой осеннего опадания, страх!

Если бы не тревога, которую я испытываю за Магдалену [подпольный псевдоним сестры Тшебинского], Анну и еще нескольких человек, — это был бы самый спокойный период этого года — пожалуй...

Не хватает мне, кстати, времени писать здесь. Пишу — дальше — свой роман.

Дня 23.10.43

109. Три или четыре дня подряд бывал у Анны. Последнюю ночь даже провел у нее. Отстраивается снова — уже перечеркнутая — «проблема» Анны. Быть может, я ее люблю, и не следует от этого отпираться — но все же мы не должны видаться слишком часто. Писателю, художнику нужно много одиночества, чтобы творить. Одиночества или холода. Тепло убивает творца в человеке, острый контур мира расплывается в зеницах.

*Перевод Натальи Горбаневской*

Тадеуш Гайцы

# СТИХОТВОРЕНИЯ

## ПРЕЖДЕ ЧЕМ УЙТИ

Страна моя вся седая,  
затянута мглой осенней,  
но прежде чем попрощаюсь,  
махнув рукой из траншеи,  
но прежде чем соглашусь на  
венец из липы терновой  
и в безоружное сердце  
тьма мне вонзится снова, —  
пусть молнии плач беззвучный  
в вечность меня призовет,  
я пальмой овею тучи,  
я лбом пробуравлю лед.  
По мертвым костям шагая,  
стужу с огнем смешаю  
на зависть звезде, что пылает  
над горящей моей головой,  
верну я любовь и юность  
невинным снам человека,  
над которым склонились  
ангел, ослик и вол.  
Как птица в дыму, сквозь пламя  
пройду босыми ногами,

чтоб под сгоревшей березой  
похоронить муравья —  
Брошусь ладонями в воду,  
чтоб не вспыхнула кожа,  
когда под крестом  
буду я.

*Перевод Андрея Базилевского*

\* \* \*

И вот я здесь — и всё нипочем мне,  
я крупней стрекозы, но до чего ничтожен  
на фоне струйки дыма, как спичка тонкой,  
над моим малиновым домом.  
Солнце за мной, убогим, гонится по пятам,  
неотступно и верно,  
а небеса, как открытое веко,  
печально меня искушают: останься!  
Порог не пускает из дома — челюсти  
стиснул:  
только тут — заявляет — будь,  
как я, мертвым и неказистым,  
хотя во мне тоже есть — и света, и ночи суть;  
тебе не справиться с дерзким делом,  
слышишь: сердце ёкает злостно,  
останься — пусть празднует тело,  
хоть у грома и кровь на деснах,  
и других он упрямо баюкает,  
но смотри — вон забрезжил свет

над планеткой, такой малюсенькой,  
колеблемой сонным ветром.

Месяц белым крылом ударяет,  
дом пресветлый на крутизне:  
твоя родина — сон без края...

Тяжело умирать во сне.

*Перевод Андрея Базилевского*

Здзислав Строинский

# СТИХОТВОРЕНИЕ

\* \* \*

Снились атаки, стаи флажков,  
желтые лычки, солдатики... Здорово!  
Радуга песен над кронами снов —  
поэзия на острие восторга.  
Ветер в рощах пел о пехоте.  
Эх, уланы, уланы —  
эх, полями, лугами.  
Польша! Сабель серебряный визг,  
танки да пушки на крыльях мифа,  
орлы окровавленные у границ  
могильным пожаром взметнулись лихо.  
И только крестьяне, застыв у ворот,  
оплакали польского войска уход —  
Прометеи, к скале отчизны  
прикованные  
пожизненно.  
А мы, заблудшие птицы, вырванные из  
гнезд,  
дождиком слабых шагов меряли боль  
отступления  
и в лохмотья мундиров пеленали  
предчувствий тоску,  
смерзшиеся, как лед, в пафосе поражения,

затерянные в закатах своих тернистых  
дорог,

из тишины полей, зарастающих вереском,  
шли на Восток.

Родину поднимать, кое-как семена, —  
бессмысленное страдание.

Мы избежали смерти, веру в себе сломав,  
и вот — все еще ждем смерти, как подаянья,  
ноги калеча на развалинах арсеналов, —  
польские пилигримы в аду грядущего дня.

*Перевод Андрея Базилевского*



## ХРОНИКА (НЕКОТОРЫХ) ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

• "Новая Польша" выходит уже пять лет! Главный редактор проф. Ежи Помяновский: "Если мы чем и хвалимся, так это свидетельствами предприимчивости, от которой поляков не успели отучить, примерами бескорыстной человеческой солидарности и жаждой знаний, благодаря которой польская молодежь по праву может считаться надеждой Европы. Если мы чего и не хотим, так это продолжения анахроничных отношений сюзерена и вассала, разрушающих экономику обеих сторон политической алчностью, – наглядным примером может послужить зависимость Польши от поставок [российского] газа. Если мы чего и желаем, так это возможности показать нашим читателям примеры польского и российского великодушия, благоразумия, взаимной доброжелательности". ("Жечпосполита", 2–3 окт.)

• Крупнейшими достижениями 15 лет польских преобразований поляки считают: вступление в Евросоюз, свободу слова и передвижения (по 45%), вступление в НАТО (36%) и переход к демократии (27%). В числе самых крупных неудач они чаще всего называют высокую безработицу и коррупцию. По мнению опрошенных, самое большое влияние на события минувшего пятнадцатилетия оказали: Папа Иоанн Павел II (78%), Лех Валенса (60%), Яцек Куронь (39%), Александр Квасневский (32%), Тадеуш Мазовецкий и Лешек Бальцерович (по 24%). ("Жечпосполита", 13 сент.)

• Согласно расчетам центра "Ипсос-Демоскоп", индекс потребительского оптимизма, определяющий настроения потребителей по 200-балльной шкале, вырос на 6 пунктов и достиг высочайшего с 1999 г. уровня 88 пунктов. По мнению авторов исследования, это не случайный скачок, а начало постоянной тенденции. У потребителей нет никаких сомнений: польская экономика развивается. Высокая оценка экономической ситуации означает, в частности, большую склонность к покупкам. Однако будущее рисуется в еще более радужных тонах. ("Жечпосполита", 21 сент.)

• "Можно рискнуть сказать, что в Польше наступил положительный перелом в настроениях. Отчасти потому, что нынешнее правительство кажется гражданам немного более

вменяемым, чем предыдущее; отчасти потому, что вступление в ЕС начало приносить многим крестьянам неожиданно крупные выгоды; отчасти потому, что люди слышат хорошие новости (...) А отчасти, возможно, и просто потому, что люди хотят жить лучше". (Богумил Люфт, "Жечпосполита", 21 сент.)

- Согласно последнему отчету Всемирного банка, Польша входит в группу десяти государств, которые быстрее всего проводят реформы, создающие основы для свободы экономической деятельности. По мнению авторов отчета, следует ускорить дальнейшие реформы. Благодаря этому годовой темп роста польской экономики может составить не 6, а 8%, что значительно уменьшит безработицу. Год назад у Польши не было никаких шансов оказаться в десятке самых эффективных реформаторов. ("Жечпосполита", 25-26 сент.)

- Согласно отчету вашингтонского Международного финансового института (IIF), ростом интереса иностранных предпринимателей Польша обязана прежде всего вступлению в Евросоюз. На протяжении последних нескольких месяцев многие инвесторы внимательно наблюдали за Польшей. Они хотели узнать, как страна справится с проблемами, вытекающими из выхода на общий рынок. Когда после 1 мая опасения не подтвердились, они всерьез заинтересовались Польшей. "Теперь вы станете свидетелями постоянного притока капитала в Польшу", - сказал президент "Дойче банка" Йозеф Акерман. ("Жечпосполита", 6 окт.)

- В 1994 г. стоимость прямых инвестиций польских фирм за границей составляла в общей сложности 461 млн. долларов; в 2002 г. - 1453 миллиона. ("Ньюсуик-Польша", 19 сент.)

- По данным Государственной трудовой инспекции, каждый второй проконтролированный предприниматель запаздывает с выплатой зарплаты. Задолженности по зарплате были выявлены в 56% проконтролированных фирм. В 2002 г. таких фирм было 68%, а в 2003 г. - 62%. ("Жечпосполита", 7 окт.)

- По мнению Высшей контрольной палаты (ВКП), государство так часто изменяет налоговые правила, что бизнесмены перестали относиться к ним всерьез. Это был очередной призыв ВКП к стабилизации налогового законодательства. В тот же день финансовая комиссия Сейма приступила к работе по установлению налогов на будущий год. Депутаты снова обещают большие изменения. ("Газета wyborча", 6 окт.)

- Впервые за последние три года в Польше менее 3 млн. безработных. "В середине сентября работы не было у 2995 тыс.

человек", – сообщил вице-премьер Ежи Хауснер. По его мнению, к концу сентября уровень безработицы будет составлять менее 19%. В июле он составлял 19,3%. ("Жечпосполита", 23 сент.)

- 85% молодежи получают образование в школах, дающих аттестат зрелости. В 1989 г. каждый второй школьник с неполным средним образованием шел в трехлетний техникум. Теперь такую модель образования выбирают лишь 15% молодых людей. ("Жечпосполита", 13 сент.)

- В 1989–1990 учебном году в Польше было 378,4 тыс. студентов – теперь их 1,8 миллиона. За это же время число вузов возросло с 98 до 377. Коэффициент охвата высшим образованием молодежи в возрасте от 19 до 24 лет повысился с 9,8 до 34,5%, а вместе со старшими студентами составляет целых 45,6%. Если прибавить к этому рост интереса поляков к другим формам образования, посещение языковых и компьютерных курсов, рост числа людей со средним образованием, то неизбежно напрашивается вывод, что за последние 15 лет Польша стала совершенно другой страной. (Роберт Костырко, "Жечпосполита", 8 окт.)

- Правительство создало Национальный стипендиальный фонд, выделив на помощь учащимся 258 млн. злотых. ("Тыгодник повшехный", 10 окт.)

- В бюджете на будущий год правительство предназначило на детское бесплатное питание 300 млн. злотых. Это почти в два раза больше, чем в текущем году. По оценкам специалистов, в Польше около 2 млн. детей испытывают недостаток в питании. В 2002 г. число детей, получающих бесплатное питание, достигло миллиона. ("Политика", 2 окт.)

- С 1 мая каждое яйцо, поступающее в продажу на территории Польши, должно иметь соответствующий штамп. 1 – куры свободно гуляют по двору, питаются искусственными кормами. 2 – куры не покидают курятника, питаются искусственными кормами. 3 – куры сидят в клетках, питаются искусственными кормами. 0 – куры с экологической фермы (ходят по двору, спят на насесте). За правильностью нанесения штампов на яйца следит Инспекция торгового качества сельскохозяйственных продуктов. ("Газета wyborча", 16 сент.)

- В подготовленном ЦИОМом рейтинге доверия к политикам первое место традиционно занимает Александр Квасневский с 63%. За ним следуют: Лех Качинский (50%), Марек Боровский

(47%), Юзеф Олексы (44%) и Дональд Туск (42%). ("Газета польска", 6 окт.)

• Дональд Туск ("Гражданская платформа") и Лех Качинский ("Право и справедливость") – самые серьезные кандидаты на пост президента. Согласно опросу газеты "Жечпосполита", Туска поддерживают 19% избирателей, а Качинского – 18%. Третье место с 17-процентной поддержкой занимает лидер "Самообороны" Анджей Леппер, а четвертое – Марек Боровский из "Польской социал-демократии" (16%). ("Жечпосполита", 28 сент.)

• Согласно опросу ЦИОМа, в октябре "Гражданскую платформу" поддерживали 27% поляков, "Лигу польских семей" и "Право и справедливость" – по 14, "Самооборону" – 12, крестьянскую партию ПСЛ, "Унию свободы" и "Союз демократических левых сил" (СДЛС) – по 6, "Польскую социал-демократию" – 4%. ("Газета wyborча", 9–10 окт.)

• Тадеуш Мазовецкий: "Общество сторонится публичной жизни и политики, уже не связывает никаких надежд с политическим классом, который по одну сторону политической сцены поражен болезнью ненависти и уверен, что противника надо уничтожать, так как в этом заключается суть политики, по другую же сторону смертельно болен вирусом махинаций, а левые идеалы уравнивает связями с бизнесом и тоже считает это сутью политики. По моему глубокому убеждению, должны прийти новые люди – честные и бескорыстные". ("Жечпосполита", 13 сент.)

• Александр Халль: "Главные грехи польской политики – это сведение ее к социотехнической игре, из которой исчезают понятия общего блага и общественного служения, а также вырождение политических партий, которые становятся группами интересов, а не выразителями идейных направлений, имеющих в обществе". ("Жечпосполита", 28 сент.)

• Станислав Лем: "Почему польские интеллектуалы смутились и замолкли? Почему они перестали играть ведущую роль – особенно совещательную? Думаю, что я знаю один из ответов: они не знают, что советовать и в какую сторону вести". ("Тыгодник повшехный", 3 окт.)

• 10 сентября Сейм единогласно принял постановление, в котором говорится, что Польша не получила от Германии военных репараций. Правительство отмежевалось от этого

постановления, заявив, что вопрос претензий к Германии закрыт. ("Жечпосполита", 25-26 сент.)

- "Политическим авантюризмом назвал польский министр иностранных дел постановление Сейма относительно военных репараций от Германии (...) Раздражение, вызванное требованиями "Прусского общества опеки", а особенно отсутствие четкой реакции правительства на немецкие попытки переиначить новейшую историю, повлекли за собой терминологическую неразбериху. В одну кучу были свалены репарации, реституция собственности, компенсации и возмещение ущерба". (Кристина Грабовская, "Впрост", 26 сент.)

- Премьер-министр Марек Белька и канцлер Герхард Шредер согласились, что вопрос польско-немецких взаимных притязаний и военных компенсаций закрыт. Над разработкой аргументов, отклоняющих возможные компенсационные иски со стороны частных лиц, будут совместно работать юристы обеих стран. ("Тыгодник повшехный", 10 окт.)

- "По мнению президента Кучмы, юго-восточные районы нынешней Польши – это "исконные украинские земли". Такое утверждение появилось в обращении Кучмы по случаю 60-й годовщины т.н. обмена населением между Польшей и Украиной (...) Только бы это обращение не привело к эскалации взаимных исторических претензий. Не знаю, до чего мы дойдем, если начнем соревноваться, чьи "исконные земли" простирались дальше". (Петр Костинский, "Жечпосполита", 23 сент.)

- В Ираке погибли трое поляков: подпоручик Петр Мазурек, подпоручик Даниэль Ружинский и старший рядовой Гжегож Носек. В течение года в Ираке погибло 17 поляков, в т.ч. 13 военнослужащих. ("Жечпосполита", 13 сент.)

- Международная дивизия под польским командованием насчитывает 6 тыс. солдат, в т.ч. 2500 поляков. По численности польский контингент в Ираке занимает четвертое место после США, Великобритании и Италии. ("Жечпосполита", 6 окт.)

- Помощь Польши развивающимся странам (в млн. долларов) составила: в 1998 г. – 19, в 1999 – 20, в 2000 – 29, в 2001 – 36, в 2002 – 14,4, в 2003-м – 27,2. Польша помогает, в частности, Афганистану, Анголе, Грузии, Ираку, Молдавии и Вьетнаму. ("Газета выбора", 8 окт.)

- Еще 90 чеченцев, въехавших вчера в Польшу, попросили политического убежища. Чеченцы опасаются самосудов и репрессий российских властей после нападения террористов на

школу в Беслане. 12 польских центров беженцев располагают 2300 местами. После последней волны беженцев свободных осталось только несколько десятков мест. ("Газета выборча", 14 сент.)

- До сегодняшнего дня в Польшу приехали искать спасения в общей сложности 15 тыс. чеченцев. С начала года чеченцы подали 4498 заявлений о предоставлении статуса беженца (за весь прошлый год подобные заявления подали 5345 человек). До сих пор беженцами были признаны 600 человек, а 14 получили временную защиту. ("Ньюсуик-Польша", 26 сент.)

- Уполномоченный по правам человека Анджей Цолль: "Нельзя рассматривать каждого чеченца как потенциального террориста. Этот народ переживает великую трагедию". ("Жечпосполита", 17 сент.)

- "Поляков нужно наконец приучить к мысли, что среди нас будет появляться все больше лиц экзотических национальностей, которые – быть может, случайно – избрали нашу страну своей новой родиной. Вполне возможно, что они будут такими же добропорядочными гражданами Польши, как мы сами". (Богумил Люфт, "Жечпосполита", 17 сент.)

- Военный самолет с дарами "Польской гуманитарной акции" приземлился во Владикавказе. Специализированная медицинская техника предназначена для больниц Владикавказа и Беслана. ("Жечпосполита", 13 сент.)

- "В Кракове есть чеченский центр по защите прав человека, где скрываются бандиты, сбежавшие после первой чеченской войны", – утверждает официальный представитель Регионального оперативного штаба по управлению контртеррористической операцией на Северном Кавказе генерал-майор Илья Шабалкин. "Ни одному из деятелей центра не было предъявлено обвинений в каких-либо преступлениях, – отвечает на это директор Чеченского информационного центра в Кракове Збигнев Бадур. – Видимо, теперь в России бандитизмом называют протесты против геноцида. Центр не ведет противозаконной деятельности (что неоднократно подчеркивали польские власти) и осуждает акты терроризма вне зависимости от того, кто их совершает. Однако факты таковы, что в 99 случаях из 100 за ними стоят российские военные". ("Жечпосполита", 23 сент.)

- Польский военный самолет Ан-26 был задержан на аэродроме в Ростове-на-Дону. Российские власти заявили, что он не располагает полной документацией, необходимой для перелета

над территорией России. Самолет вез оружие, боеприпасы и солдат в Азербайджан, где поляки должны были принять участие в маневрах в рамках программы "Партнерство ради мира". На борту находился 21 человек, в т.ч. 5 членов экипажа. ("Жечпосполита", 15 сент.)

- Депутаты Европейского парламента из трех прибалтийских государств и Польши подписали декларацию, представленную на рассмотрение Европарламенту. В декларации, в частности, говорится, что нападение СССР на Польшу 17 сентября 1939 г. было "очередным шагом на пути проведения в жизнь печально известного пакта Риббентропа-Молотова, целью которого был раздел Европы между двумя тоталитарными режимами: фашистской Германией и Советским Союзом". ("Жечпосполита", 17 сент.)

- По случаю 65-й годовщины советского нападения на Польшу в Варшаве у памятника Павшим и убитым на Востоке прошла торжественная "перекличка погибших". Премьер-министр Марек Белька принял участие в подобной церемонии в Катовице. Во Вроцлаве ровно в полдень на минуту включились сирены. ("Жечпосполита", "Газета wyborча", 18-19 сент.)

- Анджей Вайда о катынском преступлении в интервью "Известиям": "Несколько тысяч военнопленных офицеров расстреляно в Катыни. Они были в руках НКВД, они могли принять участие в войне против фашистов: это были офицеры, более половины из которых - польская интеллигенция. Врачи, профессора, священники. Расстрел в Катыни - акция против права существования Польши как таковой. Мы потеряли тогда огромную часть интеллигенции, которая после войны могла бы строить Польшу". В Катыни погиб отец Анджея Вайды. ("Газета wyborча", 5 окт.)

- Проф. Анджей Хвальба из краковского Ягеллонского университета: "У нас нет доступа к большинству документов, связанных с политикой советских властей [в отношении Польши]. Нам удалось получить кое-что во времена Бориса Ельцина, однако в период правления президента Владимира Путина в доступе к советским архивам наступил явный регресс. Впрочем, это касается не только польских историков, но и исследователей из других стран". ("Жечпосполита", 15 сент.)

- Президент Александр Квасневский побывал с официальным визитом в Москве. Встреча с Владимиром Путиным прошла в прохладной атмосфере. Вопреки ожиданиям, не было подписано польско-российское экономическое соглашение. Зато российская сторона сообщила о завершении прокуратурой

следствия по делу о катынском преступлении. ("Тыгодник повшехный", 10 окт.)

- Александр Квасневский в Москве: "Немного есть на свете народов и обществ, которые познали друг друга столь близко, как поляки и россияне. В новой Европе демократические Польша и Россия должны найти некий модус вивенди". На второй день визита в столицу России Квасневский посетил построенную под Москвой фабрику женских прокладок торунской фирмы "Белла". "Я предпочитаю, чтобы польская фирма производила здесь прокладки, а не ядерные ракеты", – сказал польский президент. ("Газета wyborча", 29 сент.)

- Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов: "Важнейшим результатом этого визита стало то, что он состоялся. (...) 10 лет назад Европейский союз и Российская Федерация подписали соглашение о партнерстве и сотрудничестве, предполагавшее, что Россия, быть может, медленно, быть может, зигзагами, но будет приближаться к модели европейского государства. Между тем сегодняшняя Россия развивается в прямо противоположном направлении (...) Если говорить о польско-российских отношениях, то политики обеих сторон неоднократно подчеркивали, что исторические конфликты не должны отрицательно сказываться на наших взаимных контактах. Тем временем все происходит как раз наоборот: есть целый ряд годовщин, которые напоминают о прошлом и вызывают самую разную реакцию (...) Поэтому я думаю, что чем больше будет контактов между нынешними лидерами, тем лучше". ("Жечпосполита", 29 сент.)

- "Мы говорили о том, как польские СМИ освещали трагедию в Беслане", – признал после встречи с российским президентом Александр Квасневский. По словам Владимира Путина, на основании представленных ему анализов он пришел к выводу, что в польской прессе было опубликовано много несправедливых и клеветнических оценок. Квасневский объяснил ему, что в Польше СМИ свободны и нет политического центра, который мог бы заказывать антироссийские материалы. ("Газета wyborча", 29 сент.)

- Адам Михник: "Неужели Брежнев воскрес? Так и кажется, что мы вновь слышим его голос: "На фоне общемировой поддержки, выраженной России в связи с трагедией в Беслане, серьезным диссонансом стала широкая антироссийская кампания в польских СМИ". Это было написано в информационном сообщении пресс-службы Кремля, распространенном перед встречей президентов Путина и



Квасневского в Москве. Из этого же сообщения мы узнаем, что антироссийская кампания была "поддержана рядом официальных лиц Польши" (...) Я обращаюсь к нашим российским коллегам: вы хорошо знаете, что польские СМИ открыты для вас. Мы публиковали и будем публиковать статьи российских авторов, представляющие разные точки зрения. Однако вы должны объяснить своим начальникам, что в Польше никто не имеет права диктовать газетам, что писать о России и Чечне, о США и Ираке, и наконец - о Польше". ("Газета wyborча", 29 сент.)

• Проф. Ежи Помяновский: "Следовало бы основательно проанализировать обвинение в русофобии, предъявленное президентом России польским СМИ. Ответ Квасневского, что польские СМИ свободны, был признан банальным. Заметим, однако, что он соответствует действительности, - как, впрочем, и большинство банальностей. Наша печать в самом деле более независима, чем когда-либо и где-либо. Конечно, иногда случаются ошибки и бестактности - например, там, где мы не учитываем всем известную обидчивость и обоснованную чувствительность россиян, воспитанных в духе осажденной крепости. Однако суть дела заключается не в тоне некоторых репортажей, а в достаточно повсеместном в польской прессе неприятии принципа коллективной ответственности. Это заставляет [наших журналистов] клеймить как подлые нападения террористов на невинных людей, детей, школы и больницы, так и коллективное возмездие, по определению затрагивающее весь народ, к которому они принадлежат. Я уверен, что этот проклятый принцип осудит каждый здравомыслящий прагматик, а уж тем более президент многонационального государства". ("Ньюсуик-Польша", 10 окт.)

• Из интервью президента Александра Квасневского программе "Вести недели": "Мы обещаем и вам, и российским телезрителям, что везде, где существует терроризм, где попираются принципы законности, Польша будет выступать против. На нашей территории не будет никакого центра - ни чеченского, ни другого, - который мог бы заниматься такой деятельностью". Квасневский подчеркнул, что его слова касаются только организаций, поддерживающих терроризм: "Мы не будем отказывать в праве на въезд чеченским беженцам или препятствовать в распространении прочеченских мнений". ("Жечпосполита", 4 окт.)

• Стефан Братковский: "Что касается России, то я уже долгие годы раскапываю захватывающее прошлое ее вычеркнутой из

памяти демократии. Я верю в будущую, столь же гордую и интересную Россию – не кроважадную, перед которой нужно заискивать ради нефти, но демократическую; в страну таких россиян, как мои героические и мудрые товарищи по профессии – Политковская, Бабицкий и им подобные..." ("Жечпосполита", 2-3 окт.)

- Среди многих выдающихся людей со всего мира, подписавших открытое письмо главам государств и правительств ЕС и НАТО, в котором содержится призыв к пересмотру политики в отношении России и президента Путина в связи с ограничением демократии, были и поляки: Владислав Бартошевский, Януш Бугайский, Бронислав Геремек, Ежи Козминский, Адам Михник, Януш Онышкевич, Януш Рейтер и Радек Сикорский. ("Жечпосполита", 29 сент.)

- "Вопрос о России – один из самых трудных европейских вопросов, а честный ответ на него гораздо менее приятен, чем еще несколько лет назад. Однако этот вопрос касается нас, как никакой другой. Он неизбежен даже сейчас, когда мы вырвались из соцлагеря в НАТО и ЕС. Хотя сегодня нам, полякам, так везет, тем не менее никогда не настанет такое утро, когда мы проснемся и не увидим этого огромного, непонятного, вызывающего в равной степени ужас и любовь, мучимого своей болью медведя у восточных границ Польши, одновременно являющихся границами Европы". (Ежи Сурдыковский, "Ньюсуик-Польша", 19 сент.)

- Из интервью с премьер-министром Марекком Белькой: "Нас разделяют прежде всего психологические барьеры. Между поляками и россиянами нет никакой личной, межчеловеческой вражды, в отличие от того, как это было между поляками и немцами сразу после войны. Поляки прекрасно отличают захватившую Польшу империю и советскую систему от людей, которые, как нам хорошо известно, страдали и были первыми жертвами этой системы. Что же мешает нам улучшить наши отношения? Россияне испытывают некий психологический дискомфорт, когда им приходится рассматривать Польшу в качестве полноправного партнера. Из-за этого они все время бьются головой об стенку. Мы же не позволяем относиться к себе иначе. (...) Но есть и другая проблема. Россияне сверхчувствительны, а мы их не понимаем. Они же, в свою очередь, совершенно не понимают нас. Они не понимают, что существуют свободные СМИ, не понимают, почему для нас так важна Катынь. С другой стороны, мы не понимаем их. Например, для нас очевидно, что с 1945 по 1989 гг. здесь царила система, силой навязанная

Советским Союзом, что это было не освобождение, а порабощение. Россиянам же непонятно, как мы можем не помнить, что 600 тысяч их соотечественников погибли в ходе военных действий на территории Польши, т.е. в ходе освобождения Польши от фашизма, как они это понимают. Россияне не могут простить нам того, что в первые годы преобразований после 1989 г. в Польше разрушались и переплавлялись памятники Красной армии. Польско-российский психологический круг замыкается". ("Жечпосполита", 7 окт.)

• Лемки действуют без лишнего шума, зато успешно. Шаг за шагом они возвращают свое имущество, конфискованное в 1949 году. Сразу же после падения коммунизма в Польше они основали общество, которое помогает собирать документы, необходимые для возвращения утраченной собственности. Они заплатили юристам за экспертизы, подтверждающие незаконность конфискации их имущества. В октябре 2001 г. Высший административный суд вынес первый прецедентный приговор о возвращении лемковского имущества. С тех пор в воеводские исполнительные органы поступило 220 заявлений о возвращении конфискованной собственности. По 45-ти из них уже вынесены вступившие в законную силу постановления, 20 постановлений ожидают вступления в силу, а остальные заявления находятся в процессе рассмотрения. До войны в Низких Бескидах и Бещадах жило 150 тыс. лемков. Сегодня лемками называют себя 12 тыс. человек, но по оценкам лемковских организаций эта цифра должна достигать 30 тысяч. ("Ньюсуик-Польша", 10 окт.)

• Почти 70 обвинений, в т.ч. в пытках и незаконном содержании в КПЗ членов национально-освободительных организаций, предъявил бывшему коменданту Управления безопасности (УБ, госбезопасность в послевоенной ПНР) в подкарпатском городке Ниско прокурор Института национальной памяти. 83-летний обвиняемый Станислав С. был назначен комендантом УБ в Ниско осенью 1944 года. После этого он был начальником УБ в Гдыне, а затем окончил Центральную партийную школу им. Юлиана Маршлевского и работал в МИДе. Карьеру дипломата он завершил в должности первого секретаря польской военной миссии в Берлине. ("Жечпосполита", 25-26 сент.)

• Спустя 22 года после кровавого разгона манифестации "Солидарности" в Любине вступили в законную силу первые приговоры милиционерам, руководившим этой операцией. Вроцлавский апелляционный суд утвердил приговор к 2,5

годам лишения свободы, вынесенный бывшему заместителю легионского воеводского коменданта милиции Богдану Г. Вступил в законную силу и приговор к 5 годам лишения свободы командира взвода моторизованной части гражданской милиции (ЗОМО, спецназ ПНР) Тадеуша Й. С учетом амнистии 1989 г. оба срока уменьшены наполовину. Процесс третьего обвиняемого, заместителя коменданта любинской милиции Яна В., будет повторен в четвертый раз. ("Газета wyborcza", 29 сент.)

- Согласно решению эльблонгского окружного суда, фирма "Жеронимо Мартинс дистрибуция" должна заплатить Божене Лопаккой, бывшей работнице торговой сети "Бедронка" ("Божья коровка"), компенсацию в размере 35 тыс. злотых. Лопаккая требовала компенсации за 2600 отработанных сверхурочных часов, за которые она не получила никакого вознаграждения. В канцелярию адвоката Леха Обары, который бесплатно вел дело Лопаккой, уже подано пять следующих заявлений от работников "Бедронки". Еще полтора десятка находятся в стадии подготовки. По некоторым оценкам, общая сумма компенсаций может составить 125 млн. злотых, так как во всей Польше в 600 супермаркетах сети "Бедронка" работают 6 тыс. человек. ("Ньюсуик-Польша", "Впрост", 10 окт.)

- Хорошему писателю – хорошие деньги. По имеющимся данным, аванс Рышарда Капустинского за книгу "Путешествия с Геродотом" составил около 200 тыс. злотых. Норман Дэвис за книгу "Восстание-44" получил свыше 500 тыс. злотых. ("Жечпосполита", 25-26 сент.)

- Председатель Общества польских писателей Петр Войцеховский: "Мы уже забыли язык описаний природы. Сегодня люди не в состоянии отличить траву от осоки или камыш от тростника (...) Думаю, что немногие сегодняшние поэты способны узнать зяблика, сойку или сизоворонку и различить их голоса..." ("Жечпосполита", 28 сент.)

- "Закон об охране животных не работает. У ветеринарной инспекции нет людей, средств и желания, чтобы следить за его соблюдением на промышленных фермах, рынках, в цирках, лабораториях и зоопарках (...) "Ветеринарная служба была создана ради блага людей, а не животных, – говорит начальник варшавской ветеринарной инспекции Анджей Майхер. – Прежде всего мы должны предотвращать разнесение животными инфекционных заболеваний и паразитов, проверять продукты животного происхождения (...) Предписания о гуманном обращении с животными – это нечто новое. Вдобавок они довольно туманны, а их истолкование

зависит от чуткости отдельных инспекторов"" ("Газета выборча", 5 окт.)

- К восьми месяцам лишения свободы приговорил Щецинский районный суд Збигнева С., повесившего свою собаку. "Люди должны понять, что закон защищает животных. Это наши друзья, а иногда и защитники, создающие чувство безопасности. Это живые существа", – сказала судья Катажина Нащинская, обосновывая приговор. Это один из самых суровых в Польше приговоров за дурное обращение с животными. Впервые убийство животного повлекло за собой тюремное заключение. ("Газета выборча", 7 окт.)

- 15 тыс. человек подписали подготовленную обществом "Эмпатия" петицию, призывающую ввести в столице запрет на цирковые выступления с участием животных. Инициативу уже поддержал президент Варшавы Лех Качинский. Теперь "Эмпатия" хочет убедить в своей правоте депутатов городского совета. ("Газета выборча", 27 сент.)

- "Две обезьянки одного из самых мелких видов обнимали друг друга лапками, образуя единое целое (...) Дело было на базаре (...) Они были насмерть перепуганы. Я купила их и принесла в сумке домой (...) Они тряслись от страха, их невозможно было расцепить (...) Прошло немало времени, прежде чем их удалось приручить (...) Мы не можем так относиться к животным. У них ведь тоже есть сознание – не такое как у людей, но они точно так же страдают". (Ядвига Жилинская, "Тыгодник повшехный", 10 окт.)

# КАТОЛИЧЕСТВО ОБРАЩАЕТСЯ В ХРИСТИАНСТВО

Может быть, мои друзья, гордые своим католичеством, любящие нашу Церковь и Папу, обидятся на такое заглавие. И неправильно сделают: чем больше мы радуемся тому, что мы католики, с тем большей жаждой должны устремляться к христианству настолько глубокому, чтобы оно не подвергалось никаким разделением. Погруженные во Христа – можем ли мы быть разделены? Разве слова "католичество", означающее вселенскость, соборность, и "православие", означающее ортодоксальность, истинную веру, не с одинаковой точностью определяют одних и тех же людей, душою влекомых ко Христу? Разве мой православный брат не хотел бы в этом смысле быть "кафоличным", через вселенское свое вероисповедание побратавшимся со всеми исповедниками Христа – маронитами, лютеранами, коптами, католиками, униатами, пресвитерианцами?

Этим замечанием я должен был начать рассказ о II Конгрессе христианской культуры, и не только потому, что организаторы разумно и целесообразно не включили в его название словосочетание "католическая культура", а еще и потому, что читать меня будут русские друзья, для которых христианство – это прежде всего опыт (будь то вера или неверие) православия.

Первый такой конгресс в Люблине проходил в 2001 г., и вот теперь, в 2004-м, прошел второй. Не нужно быть сверхнаблюдательным, чтобы видеть, что это не отдельные единичные события, а скорее кульминация некоторого течения в польской религиозной жизни, течения, проявляющегося во многих отдельных или регулярных встречах, в периодике, пастырском окормлении. Это течение состоит в том, что люди совместно делятся размышлениями и вместе переживают впечатления. "Конгрессное" течение не втягивает в свои рамки ни всех католиков, ни всего духовенства или всех епископов – оно скорее свидетельствует о плюрализме, показывая, что всеобщему вероучительству, "простонародной" вере, богослужению, объединяющему миллионы верующих, сопутствует постоянный труд по интеллектуальному углублению веры, обмену взглядами, общим встречам вокруг красоты. Иоанн Павел II в одной из своих речей перед учеными

говорил о "служении мысли" – это, пожалуй, точное определение.

Если бы мне нужно было назвать главные черты этого течения религиозно-интеллектуальных встреч, я назвал бы три, ибо поляки знают (от русских узнали), что "Бог троицу любит" (курсивом – по-русски в тексте. – Пер.).

Эти встречи всегда открытые, т.е. к польскому католицизму организаторы стараются привлечь то, что ценно в христианстве за границей, то, что важно и актуально в мысли агностиков, иудеев, исповедников других религий. Это во-первых.

Во-вторых, здесь как правило царит деловитость: ораторы готовятся старательно, они компетентны, не ищут эффекта, не пытаются блеснуть провокацией или эрудицией. Говорят на тему и ответственно.

И, наконец, в-третьих – это встречи злободневные, отвечающие на сложившиеся сегодня трудности, сомнения, кризис в польской Церкви, в Польше и Европе.

Потому-то конгресс этого года определил направленность своей работы словами "Европа общих ценностей: что вдохновляется христианством в объединенной Европе".

В первый год формального и действительного членства Польши в Европейском союзе надо было поставить несколько важных вопросов, не ставя, однако, понятию Европы никаких границ. И верно, ибо граница Евросоюза – не граница Европы, а "общие ценности" живы на берегах Рейна, Днепра, Волги, Вислы, Эбро. Духовное объединение Европы проходит параллельно дипломатической деятельности, а вдохновение христианством можно черпать не из одного-единственного источника, поддерживая себя молитвой по восточному и западному обряду.

Отчасти наше вступление в Европу Евросоюза – это включение нашего социального и культурного капитала не только в европейское сотрудничество, но и в европейскую конкуренцию. Уровень культурного капитала складывается из уровня людей и уровня соединяющих их связей. Люди образованные и здоровые, а вдобавок порядочные и связанные узами доверия и взаимного уважения к национальному достоянию, – это не то же самое, что образованные и здоровые люди, привыкшие ко лжи, воровству и насилию, не доверяющие друг другу и лишенные культурных корней.

Отчасти наше вступление в Европу Евросоюза – это включение нашей демократии в систему демократических устройств стран ЕС и в систему европейских демократических учреждений. Чтобы функционировать хотя бы на среднем уровне успешности и правозаконности, демократия должна опираться на общество, в котором действуют организации, клубы, движения, объединения, приходы. Она должна также иметь в своей основе некий уровень насыщенности общества гражданскими добродетелями, такими, как правдивость, доброжелательность, честность, ясность мысли и сжатость высказываний, пунктуальность, ответственность, чувство юмора. Если этих гражданских добродетелей нет, если они чрезмерно редки – демократия вырождается, ее процедуры и формы превратятся в демократию-ширму, скрывающую структуры, основанные на коррупции, эгоизме, страхе и насилиии.

Нужно ли говорить, что Церковь многое может сделать в распространении гражданских добродетелей? Потому-то в программе люблинского конгресса, уже в первый день его заседаний, фигурировали доклад архиепископа Тадеуша Кондрусевича из Москвы о столкновении морального наследия коммунизма с практикой либеральных обществ и панельные дискуссии, сосредоточенные на сегодняшних нравственных аспектах государственного и общественного бытия.

Какую цену платит политик за честность? Может ли высокая культура, не подражая шоу-бизнесу, найти своих читателей, слушателей, зрителей? Можно ли свободе выбирать путь нигилизма – или же она должна устанавливать законы и повиноваться им? Этим трем большим дискуссиям с участием философов, представителей искусства и литературы, деловых людей и публицистов предшествовала торжественная церемония вручения дипломов почетных докторов Люблинского католического университета выдающемуся композитору Миколаю Гурецкому и не менее выдающемуся кинорежиссеру Кшиштофу Занусси. Доклад Занусси (кстати, хорошо известного в культурных кругах России) стал настоящим открытием заседаний.

Занусси стремился определить, чем исключительна европейская мысль, и поставить вопрос, не может ли эта исключительность стать светом, выводящим нас из ночи кризиса. Он, в частности, сказал: "Европа сохраняет свое самосознание, неустанно подвергая себя сомнению, и кажется, что как раз изобретение самосомнения сделало Европу колыбелью ускорения в развитии, которое мы легко привыкли



называть прогрессом. Критический подход вырастает из уверенности, что существует некая объективная истина и если мы правильно ищем, то не можем ее потерять. В критицизме проявляется вера в собственные силы и уверенность, что разум нас не подведет. Без Аристотеля и св. Фомы Аквинского эти как будто очевидные вещи не были бы поняты. Европа обязана своим успехом сфере духа, в которой она оказалась и которую развила, идя по пути, проложенному Ветхим и Новым Заветом. (...) Тезис о том, что христианство исчерпало себя, утратило свою вдохновляющую силу в культуре, невозможно доказать, пока на свете существуют христиане. Великий русский художник самого молодого искусства, искусства образов и звуков, Андрей Тарковский с благодарностью говорил, что человечеству грозит не столько атомная гибель, сколько то, что умрут последние верующие, а вместе с ними кончится вся европейская культура. Тарковский несомненно был представителем "восточного легкого" европейской культуры, того, которое ценит разум ниже, чем веру, не веря, что разум на пути к истине неизбежно познает Бога. Наблюдая процесс обмирщения Запада и зная, как успешно был обмирщен восток Европы, Тарковский питал опасения, что Европа может увидеть свой конец. Даже самая высокоразвитая технология не гарантирует выживания никакой цивилизации, не служит залогом ее способности к воспроизводству и защите. Если сегодня европейская цивилизация открывает перед нами перспективы уменьшения населенности Европы, если жизненный комфорт приводит к тому, что европейское население убывает, а неудобства родительства – к тому, что у благополучных европейцев мало детей, то не только демограф, но и политик обязан спросить, обладает ли наша цивилизация действительной волей выживания и развития или же она дошла до своего края, исчерпалась и жаждет смерти".

Подчеркнутые Кшиштофом Занусси доверие к разуму, подвижность критического ума и нравственное наследие христианства привели к тому, что не где-нибудь, а в Европе кристаллизовалась идея прав человека, отсюда стремящаяся проникать в пространства других культур.

Вопрос о том, верны ли сами европейцы не только предписаниям о правах человека, но и глубочайшей их сути, было главной нитью доклада философа Шанталь Дельсоль (Франция), известной своим критическим отношением к либерализму и постмодернизму. В Польше знают книги Шанталь Дельсоль, а она сама не раз признавалась в том, какое влияние оказали на нее контакты с диссидентами из Польши и других стран Центральной и Восточной Европы.

Шанталь Дельсоль подвергла сомнению функционирование идеи прав человека в западных развитых обществах: "Наша современность глубоко уверена, что служит только идее прав человека, идее, основанной на разуме и, следовательно, признанной верною всеми людьми доброй воли, идее естественной, нейтральной, бесспорной. В действительности же она служит своеобразной и, таким образом, сомнительной философии прав. (...) Человек [по этой философии] есть существо, не имеющее никаких обязанностей. Единственная область, в которой от него требуют делиться с другими, обладать ответственностью и обращать внимание на ближнего, – это экономика. И если общество готово позволить, чтобы дети лишились отца или родители были покинуты, то невозможно, не сталкиваясь со всеобщим осуждением, отказать в согласии на перераспределение некоторой части богатств. Прежнее всеобщее мнение гласило: „Люби и делай что хочешь“, – сегодняшнее поучает: „Поделись деньгами и продолжай делать что хочешь“. Вот так мы подошли к попытке истолковать эту специфическую антропологию. Во-первых, это антропология материалистическая: материальные и потребительские блага составляют в ней основные ценности. Поэтому и вся сеть европейских законов бдительно следит за качеством нашего продовольствия, в то время как телевидение заливает наши умы отбросами, даже запаха которых мы не чувствуем.

Потому-то сегодня считают, что преступность есть результат различий в заработках или низкого уровня семейных пособий, а отнюдь не дурного воспитания. Потому-то духовный выбор, который делают люди, вынужден сегодня таиться в глубине совести и не может выйти на дневной свет (в качестве примера можно назвать введенный в Греции приказ ликвидировать в удостоверениях личности пункт о религиозной принадлежности). Таким образом, сегодняшние суждения о правах человека стремятся ограничить оценку поведения людей, приводя тем самым к отмене как понятия отклонения, так и идеи добродетели; это становится возможным путем сближения обоих терминов".

Историческим и богословским горизонтам надежды было посвящено выступление чешского философа, католического священника Томаша Галика. Он стал второй, после Шанталь Дельсоль, "звездой" второго дня конгресса. Бывший диссидент, посвященный в сан в чешской "подпольной Церкви", сегодня он представляет собой важную, красочную, влиятельную фигуру, и его влияние выходит далеко за пределы Центральной Европы.

В его докладе мы услышали о необходимости помнить и постоянно осуждать прошлое в соответствии с Божиими заповедями любви.

"Смысл и надежду разговора памяти с совестью, настоящего с прошлым мы можем выразить единственным словом: метанойя, – сказал о. Галик. – Это нечто большее, чем урок, извлекаемый из истории в смысле педагогической мудрости – *historia magistra vitae*.

Метанойя – преобразование, раскаяние, обращение, перемена образа мыслей и поведения, – это суть Христова учительства и одновременно вызов, который принимает апостол Павел, выступая перед греками, собравшимися в афинском ареопаге. Помимо всего прочего она означает преодоление границ между прошлым, настоящим и будущим. Принять этот вызов и ответить на него означает как искупление прошлого (отпущение грехов), так и предвидение совершенного будущего („знайте, что близко Царство Божие“, „Царство Божие внутри вас есть“). Акт обращения придает настоящему моменту глубину и смысл, настоящее тем самым выходит из линейного потока времени (хронос) и становится временем желанным (кайрос). „Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения“ (2 Кор. 6:2), – восклицает апостол.

Иоанн Павел II на пороге третьего тысячелетия сказал, что в истории имели место три крупных разочарования в европейском христианстве, три болезненные раны в истории Церкви и Европы: вражда к евреям, судилища инквизиции и насилие во время крестовых походов. (...) Стремление всеми возможными средствами истребить зло в Церкви и обществе, не дожидаясь суда Божия, то есть взять в свои руки оценки, осуждение и наказание, прямо расходилось с предостережением Иисуса ученикам, чтобы они в своем ревностном стремлении упредить Страшный суд не вырвали плевел вместе с зерном. (...) Обращение через Иисуса к эсхатологическим горизонтам побуждает к терпению и терпимости. Ревностность революционеров и инквизиторов – грех против добродетели надежды. Надежда отворяет время и пространство созреванию веры“.

Я чувствовал бы себя недобросовестным, если бы в статье о II Конгрессе христианской культуры не представил хотя бы трех важнейших докладчиков достаточно развернутыми цитатами, чтобы читатель смог ощутить вкус мышления на конгрессе. Но мне придется обойти стороной десятки других важных докладов, блестящих выступлений во время их обсуждения, резких споров в панельных дискуссиях и в кулуарах. Я сам

участвовал в панельной дискуссии, посвященной вопросам духовных ценностей постмодернизма, – оставим это до другого случая. Невозможно сжато изложить подлинное богатство и разнообразие заседаний, а стоило бы еще рассказать, что такое Люблинский католический университет, который был хозяином конгресса и одновременно помогал ознакомиться с его заседаниями сотням студентов. Стоило бы также отдельно написать о митрополите Люблинском, архиепископе Юзефе Житинском, вдохновителе обоих конгрессов, канцлере ЛКУ, пастыре, мыслителе. Стоило бы представить этого скромного дружелюбного человека, одаренного чувством юмора.

Думаю, что о Люблинском католическом университете и архиепископе Житинском "Новой Польше" следует написать отдельно, я же должен закончить несколькими словами о Люблине в дни конгресса. Это красивый город, расположенный на невысоких холмах, город молодежи, город множества высших школ во главе с двумя университетами – государственным им. Марии Кюри-Склодовской и более старым Люблинским католическим. Университетским городом Люблин стал после I Мировой войны, когда Польша завоевала независимость. Старинный город с долгой историей. Начинался он с крепости на торговом пути, воздвигнутой для защиты от татар. Потом Люблин стал важным городом королевства, расположенным в центре богатых сельскохозяйственных территорий, прославился тем, что в нем заседали суды, независимые от королей, – и до сих пор в центре города господствует массивное здание суда. Люблин был городом многих королей – по сей день от городских ворот виден могущественный замок, позже ставший тюрьмой – царской, гестапо, НКВД и польской госбезопасности. В замке сохранилась часовня Пресвятой Троицы с уникальными фресками, где западная живописная техника соединяется с восточными, иконописными образами святых. Люблин на протяжении столетий был излюбленным городов евреев – за большое количество и высокий уровень здешних школ, где изучали Талмуд и готовили раввинов, его звали еврейским Оксфордом. История люблинских евреев трагически завершилась в годы гитлеровской оккупации.

Среди нескольких встреч с искусством, состоявшихся во время конгресса в сентябре этого года, я обязан назвать как раз ту, что была связана с мученичеством люблинских евреев, – ночную мистерию "Поэма о Месте". Мистерия, подготовленная люблинским "Театром НН", шла без актеров. Зрителей вели из Старого Города во двор замка, вел их свет, а сопровождали им извлекаемые из-под земли голоса – подлинные звукозаписи

свидетельств уцелевших. Среди участников, среди толпы старшеклассников и студентов можно было увидеть и тех, кто мог помнить военное время, – общее волнение созидало общину старых и молодых. Это упрочение интеллектуальных размышлений с помощью религиозных и художественных переживаний – постоянная составная интеллектуального течения в польском католичестве, в кругах, ищущих обращения через "служение мысли", стремящихся к "метанойе", к полноте христианства.

Через четыре, а может, через два года в Люблине пройдет следующий конгресс. Надо ожидать, что еще сильнее прозвучат экуменические акценты – с присутствием православных христиан из России и с Украины. Нас ведь столь великое соединяет и столь малое разделяет.

## НЕУСТАРЕВШАЯ ТЕМА

Статья Чеслава Милоша о Мандельштаме ("Газета выборча", 1996, 23–24 ноября), его поэтическом величии и человеческой слабости обладает тем достоинством, что заставляет задуматься над двумя немаловажными вопросами. Первый связан с оценкой поведения русских писателей в период террора. Невозможно согласиться с осуждением их всех одним махом, и трудно понять, как Милош, поэт, которому я не вижу равных, а сверх того мыслитель без иллюзий, соглашается применять повседневные нравственные нормы к поступкам людей, поставленных в нечеловеческие обстоятельства, под натиск смертельного гнета.

Во-вторых, речь идет об отношении польской общественности к тому, что происходит в России. Милош не знает на собственном опыте Советского Союза времен "великого страха", но принадлежит к исключительно лояльным и хорошо информированным знатокам русской литературы. Поэтому тревожным недоразумением выглядит тот факт, что его выступление прозвучало в унисон с другими голосами, повторяющими сарматские, презрительные мнения о России – и тем самым отвлекающими внимание от подлинных опасностей, которые могут оттуда прийти.

Ныне пишут о грехах и винах жертв советской системы, в то время как ее наследники отнюдь не отрекаются от надежд на реставрацию своей машины чистки мозгов собственных подданных и обращения в подданство окружающих народов. Эта реставрация может быть остановлена только руками самих российских граждан. В России рано или поздно сформируется течение, состоящее из все более многочисленных политиков и миллионов избирателей, знающих, что имперская, традиционная концепция государства стала неокупаемой, что она принадлежит истории. Демократы или только полудемократы, гражданские лица или даже военные – не это главное. Главное, что они не посягают на свободу других народов. В русских политических традициях эта тенденция, признаемся, была слабой. До сих пор ее обосновывали немногочисленные представители мыслящего слоя, а хорошо заметна она была только в литературе. И вот как раз литераторов и выбрали себе мишенью глашатаи предрассудка,

согласно которому русские – по природе рабы, и ничто их не переменит.

Пример возьмем не откуда попало. В газете "Жечпосполита" (1996, 29–30 июня), на тех самых страницах, где сейчас печатает свой "Ночной дневник" Густав Герлинг-Грудзинский, появилась большая статья Кшиштофа Маслоня – критика молодого, но уже известного самостоятельными и высоко ставящими планку оценками. Рецензируя "Путеводитель по современной русской литературе и ее окрестностям" Тадеуша Климовича, критик назвал свою статью "Инженеры душ". Статья читается как сборник уголовных репортажей, где преступников, жертв, судей и палачей описал ловец анекдотов, не знающий ни того, что творилось за стенами зала суда, ни шифра подсудимых. Рядом с информацией о доносителях типа Софронова или Ермолова и слов признательности таким свидетелям, как Венедикт Ерофеев, мы читаем, что Ахматова "любила попить слегка подогретую водку" и, хуже того, в собственноручно написанном письме "просила Хорунжего Мира [так называла Сталина пропаганда ПНР. – Пер.] освободить сына", когда его в очередной раз на много лет арестовали. Мы узнаём, что Иосиф Бродский в ссылке страдал недостаточно: получал сигареты, дерево для печки и даже письма. Читаем мнение критика Сарнова об Александре Галиче: "Он писал о заключенных, а сам не сидел". Действительно, вскоре после возвращения с "диссидентского биеннале" в Венеции он погиб в своей парижской квартире, убитый током: вошел в дом, а сесть не успел – что правда, то правда. Мандельштам – это факт – погиб по пути на Колыму, но забрали-то его из дома отдыха Литфонда, так что привилегиями пользовался. Вообще же "милостей товарища Сталина домогались все".

У меня претензии к критику не за то, что он не пишет жития святых, но за то, что он не умеет вести себя в доме, где царит траур. Потешные истории, которые он рассказывает о слабостях, падениях и умоляющих письмах, – это ведь контрапункт огромного реквиема русской литературы. По самым приблизительным подсчетам, больше двух тысяч советских писателей погибли за колючей проволокой или с пулей в затылке. Там действительно платили головой за слово правды. 70 лет там пытались сломать тот домкрат национального сознания, каковым является литература. Но эта операция не удалась ни Сталину, ни его последышам – фабрика подлости не выполнила план. Одинокие, беззащитные, подверженные всем человеческим слабостям писатели делали что могли. Призраки Толстого и Чаадаева, Гоголя и Лермонтова,

Аввакума и Салтыкова-Щедрина пробуждали поутру людей, измученных страхом, и повелевали использовать талант, коли он есть. Самиздат возник в России раньше, чем у нас. Поражает даже не то, что беспримерный террор сломил столько талантов, а скорее то, что так немногие искренне и до конца ему поддались. Потому-то Александр Кабаков пишет, что это безумная страна, где к литературе относятся как к религии. Польский критик, приводя эти слова, не услышал в них восхищения. Зато в его обзоре слышится высокомерное хихиканье. Причин этому я не вижу.

Когда прилагают короткую польскую мерку к условиям, в которых пришлось жить Клюеву, Ахматовой, Бабелю, Мандельштаму, это почему-то напоминает мне старый рассказик про англичанина, который во время войны объяснял полякам, почему не нужно бояться гитлеровского вторжения на Британские острова: "Мы просто закроем магазины, оккупанты не получат ни куска хлеба и будут вынуждены со стыдом убраться восвояси".

Кстати, думаю, что об истории советской литературы невозможно говорить, если не отличаешь трагедии от гиньоля.

Юзеф Юзовский, родившийся в Варшаве и описанный в "Голубых листках" Адольфа Рудницкого ("Человек в вагнеровском берете") в 1948 г. был признан главой заговора космополитов, врагов советской родины. Не без оснований. Юз был в Москве заведомо лучшим театральным критиком, и ему не удалось утаить пренебрежения к тем, кого назначили великими писателями. Его коллег Резника и Альтмана посадили сразу. Юзу досталась, может быть, худшая судьба: ждать. На протяжении шести лет он каждый вечер ложился на свою кушетку одетым, с готовым узелком под головой: в узелке была смена белья и очки. Жена-актриса развелась с ним, чтобы не терять ролей и места в труппе. Забрала с собой маленького сына. Юзу осталась только собака. Он выводил собаку во двор на раннем рассвете и очень поздно вечером, чтобы случайно не столкнуться с другими жильцами писательского дома в Лаврушинском. Собака заставила его выжить. Не только привязанностью и бдительностью: вечером она не раз возвращалась к хозяину с банкнотой под ошейником. Эти банкноты под собачий ошейник засовывал Илья Эренбург, который ни разу этим не похвалился. Юз узнал об этом поздно и от третьего лица.

Он рассказал мне эту историю только тогда, когда ему наконец разрешили побывать в Варшаве. Говорил он полупшепотом, хотя на дворе давно уже стояла оттепель. Автора повести



"Оттепель", которая дала имя этой эпохе, нередко – и не без причины – обвиняли в оппортунизме и трусости. Я неплохо знал его и думаю, что поначалу был соблазн игры: он сел за карты, убежденный, что сумеет переиграть даже шулеров. За соседним столиком, напомним, играли в кости таких, как он. Его спасло везенье: тот, кто сдавал карты, умер раньше.

Дело Юза дает в руки обвинителям Эренбурга важное, но хлопотливое доказательство. Ясно, что он боялся: при этом строе и в то время всякий, кто помогал гонимым, сам нарывался на их судьбу. Он робел, молчал, путал следы, помогал тайно, но все-таки старался помочь.

В истории Юза, Эренбурга и собаки я нахожу две неотступные темы. Первая – политическая. Оказывается, для оценки того или иного строя достаточно простого критерия: что в нем безопасней и легче – быть подонком или порядочным человеком? Вторая касается литературы. Для нее это тема не новая, но такая, о которой продолжают забывать. Аристотель в "Поэтике" писал, что ему неинтересны истории любви двух друзей или ненависти двух врагов – интересуется же его ситуация, в которой влюбленные должны бороться друг с другом, враги – сотрудничать, а трус и циник осмеливается сделать то, на что не осмеливаются храбрые, добродетельные и верующие мужи. Не осмеливаются – или не хотят знать. Критики, писатели, читатели молодого поколения могут просто не знать, что в СССР действовала, так сказать, позитивная цензура. Не писать порочных, запрещенных слов и предложений – этого было мало. Молчание было рискованным: Бабель пытался замолчать – с известным результатом. Побег в стилистические изыски приводил к убийственному обвинению в формализме. Надо было писать то, чего ожидала власть, что она приказывала, – и только это. Если уж взял перо в руки, уцелеть можно было, лишь выполняя этот долг. Обычно старались откупиться одной или несколькими уступками. Происходило это в условиях неустанной смертельной угрозы, нигде больше не существовавшей: Эриху Кестнеру в Третьем Рейхе удалось – в молчании, но безнаказанно – пережить Гитлера.

Нет никакого сравнения между угрозой, которая висела над головами писателей в СССР, и тем, что грозило нам в ПНР. Тем не менее намерения власти были те же самые: ей было важно скомпрометировать всякий конкурентный авторитет, т.е. тот, что получил свою авторитетность не из ее рук. Запоздавшие на полстолетия счеты, которые сводятся у нас теперь, выглядят тратой времени и сил и посмертным триумфом Системы.

Да, многие русские спасались уверенностью, что это естественная система, к которой надо привыкнуть, которую надо признать исторической необходимостью, полной светлых надежд. Сначала так считали многие, без принуждения, тут Милош прав. Но настоящим поэтам в этом признании, а тем более в энтузиазме, мешал именно принцип приказа, противоречащий самой сути таланта.

Грешно судить этих людей не по их замечательным произведениям, вырванным у собственного страха, а по этим уступкам. Особенно с позиции людей, способных к свободному и безнаказанному выбору. Их, может быть, труднее судить, чем прилагать повседневные нравственные мерки к поведению заключенных в концлагере или спрашивать уцелевших, почему и за чей счет они посмели уцелеть. Ответ на эти вопросы, задаваемые самому себе, дали Тадеуш Боровский и Примо Леви – самоубийцы.

И все-таки Чеслав Милош, тот самый Милош, который с такой отвагой задал подобные вопросы своему народу, христианству, всему равнодушному к Катастрофе миру, – осудил Осипа Мандельштама, ибо тот стихами о Сталине пытался спасти и свою жизнь, и непрерывность определенной культурной традиции, которую считал совершенно необходимой. Жизни он не спас. Непрерывность сохранилась благодаря тем, кто запомнил его стихи.

Один из них, писатель Фазиль Искандер, защищал Мандельштама, напоминая, что оды великим мира сего веками писали в надежде получить награду, а Мандельштам написал свою оду в надежде на милосердие – "дьявольская разница...".

Действительно, прилагать абсолютные мерки, вне зависимости от времени, места, условий, окружения, – занятие немилосердное и вдобавок тщетное, если судья не знает, как сам повел бы себя в крайней ситуации. Все мы такие судьи.

Может быть, Милош хотел сказать, что нигде нет святых. Но для этого у него не было ни причины, ни обоснованных мотивов. В конце концов, в расчет принимается сумма человеческих поступков и то, что называется – и что называет Солженицын – раскаянием, то, что должно состоять в возмещении ущерба. Пример святого Петра, трижды отрекшегося, может служить не только христианам.

Суфийская школа считает, что у нас не одна, а две души: ангельская и звериная – прожорливая, но слабая. Задача

обществ, как мне кажется, – создавать такие порядки и условия, при которых эта звериная часть нашей души имеет меньшее поле действия и меньше случаев показать себя. Вот и всё.

Тут стоит добавить лишь несколько слов, и чтобы их понять, не нужно быть ни русистом, ни знатоком Мандельштама, ни поэтом. Не примите их, пожалуйста, за патетику. Позор – не слабости человеческой, позор – власти, которая ставит на эту слабость, кормится ею, свое дерьмо оставляя историкам и критикам, которые в свою очередь принимают его за истинную суть пожранных и сгноенных существ.

"Газета выборча", 1996, 30 ноября – 1 декабря

### **От автора**

Я извлек из-под спуда этот текст, в частности, потому, что в журнале "Наш современник" (2004, №3) вышла статья С.Куняева "Крупнозернистые поэты". Куняев известен у нас как автор книжицы "Шляхта и мы" – курьезной антологии клеветы и претензий, собранных лишь затем, чтобы натравить русских на поляков. Разумеется, никто в Польше не стал платить ему той же монетой. Однако на этот раз придется ответить на его статейку, ибо она направлена против русского поэта, которого в Польше особенно ценят и любят, – против Осипа Мандельштама. Вопреки обыкновению, Куняев не причисляет его к "русскоязычным еврейским витиям", но силится бросить тень на его славу, пользуясь еще более позорным приемом. Он пытается доказать, что затравленный, преследуемый, доведенный до попытки самоубийства и, наконец, арестованный и сосланный на верную смерть поэт на самом деле был искренним поклонником Сталина и энтузиастом режима. Доказательством этому должна послужить прежде всего ода, о которой я спору с Милошем.

Подобное утверждение – не что иное как попытка выдать патологию за признак здоровья, причислить жертву к числу борзописцев жестокого режима. Однако наш Фигляев не отдает себе отчета в том, что тем самым он оказывает режиму медвежью услугу. Он, сам того не желая, показывает всю саморазрушительную нелепость этой системы, которая, выходит, убивала собственных приспешников и энтузиастов, даже если они были гениальными поэтами. Ни нам, ни множеству россиян не нужно об этом напоминать. И все же свидетельство Куняева полезно: оно выставляет на посмешище не прежних, а современных, уже не вынужденных, но добровольных певцов старых злодеяний. Почему они восхищаются этими злодеяниями? Потому что, видите ли, эти злодеяния великие. И смешно и страшно.

# К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВИТОЛЬДА ГОМБРОВИЧА

"Вам Лев Толстой не мешает писать?" – спрашивал Блок знакомого литератора и, вздохнув, признавался: "Мне – мешает". Такой великой "помехой" в великой польской словесности XX столетия был и во многом остается Витольд Гомбрович. "Без него я стал бы беднее, – передавал свои разноречивые чувства тридцать с лишним лет назад Славомир Мрожек. – А рядом с ним мне трудно быть собой". Это одна сторона дела: такой крупный и вместе с тем неподражаемый писатель, хочешь – не хочешь, заслоняет, парализует и хорошо если не вовсе обеспложивает современников.

Есть и другая. Бруно Шульц называл Гомбровича разведчиком и именователем областей неофициального, непризнаваемого, замалчиваемого в жизни и в сознании, сопоставляя его с Фрейдом (я бы добавил здесь имя фрейдовского ученика Эрика Эриксона, который ввел само понятие "кризис взросления"). Роль, что ни говори, для большинства окружающих малосимпатичная, и надеяться на их благодарность или хотя бы благожелательность в ответ на откровенность диагноста, понятно, не приходится. Тем более что Гомбрович был привередлив и неліцеприятен, привык провоцировать и любил задирать, делал это каждым словом, каждым поступком, каждой новой вещью. От него доставалось и самым близким (тому же Шульцу или Милошу), а о более дальних и говорить нечего.

Такой "неприятный" писатель не просто тяжел для окружающих. Окружающее тяжело для него самого, вот в чем дело: правда для него – всегда "одиозная" (по выражению грибоедовского персонажа, "хуже всякой лжи"), признания – всегда "тягостные" и "невольные". При этом он своим дьявольским зрением сразу видит ахиллесову пяту собеседника и метит в самые болезненные для него, а потому упорней всего защищаемые точки – гордыню и жертвенность, стадность и самодовольство, похвальбу и раболепие... Если говорить о двух сквозных традициях польской культуры: пророческо-мифотворческой и нигилистическо-иконоборческой, то

Гомбровича можно считать главной представительской фигурой, прародителем и покровителем второй из названных линий – линии беспощадной национальной самокритики; он бы, впрочем, на это отрезал, что представляет только себя. Думаю, сатирические фильмы Мунка или абсурдистские драмы Мрожека – на той же смысловой оси, и статус подобных авторов (вспомним, к примеру, наших Щедрина или Зощенко) не назовешь исторически надежным, непоколебимо классическим.

Классика ведь всегда в центре: она и олицетворяет центр, столицу, устой. Гомбрович же, как и Шульц, защищал, можно сказать, "права провинций" – в этом они писатели даже не XX века с его бунтом мировых окраин, но уже послевавилонского двадцать первого столетия, в котором, по старинному богословскому выражению, центр повсюду, а окружность нигде. Классика, добавлю, тяготеет к величию, почему и становится великой; Гомбрович (и опять – таки Шульц) восстанавливают достоинство незначительного, малого, завалящего – героя – молокососа, как это делает Гомбрович, хлам повседневности, как поступает Шульц. Главная фигура в классике – автор, всезнающий и всевидящий, вездесущий и неподвижный бог этого гелиоцентричного мира. Несущее начало центробежной прозы Гомбровича и литературы "гомбровичевского" склада (например, гениального "Падения" Камю или беккетовского "Безымянного") – рассказчик, подвижная, ускользающая от самого говорящего точка зрения, фигура и интонация бесконечно неутолимой и бесконечно сбивчивой речи.

Характерны "авторитеты" Гомбровича (поостережемся, однако, простодушно принимать их на веру). Откликаясь в 1960 году на просьбу берлинской газеты "Тагеблатт" перечислить пять книг, оказавших на него наибольшее влияние, Гомбрович назвал "Братьев Карамазовых" Достоевского, "Веселую науку" Ницше, "Волшебную гору" Томаса Манна, "Короля Убю" Альфреда Жарри и "Дневник" Андре Жида. Величавой классики тут, по-моему, и близко нет, а герои и повествователи во всех названных текстах – явно сводные братья Юзека из "Фердидурке" (а кто-то назовет джойсовского Стивена или томасовского "художника во щенячестве"). Они существа заведомо "незрелые", душевно незаскорузлые, но именно потому этически уязвимые и не успокоенные. Недаром Милош не колеблясь причислял Гомбровича к старой семье европейских моралистов, видел в его шутовстве стоический выбор и советовал вперемежку с ним читать Паскаля.

И последнее. Все романы и большинство новелл Гомбровича на русский переведены, за последние пятнадцать лет они не раз, в разных переводах издавались, открыта для знакомства его драматургия, большими фрагментами представлен "Дневник". Но "русского Гомбровича" – ни как катастрофического толчка к самоосмыслению, ни как фокуса острой полемики, ни как разворачивающегося события собственной жизни, – по-моему, до сих пор нет. Не видно усилий к его пониманию: писатель, о котором на всех уважающих себя языках мира написаны книги, не удостоился на русском ни одной самостоятельной, принципиальной статьи без ученической или поучающей позы (если это вообще не одно и то же), – одни дежурные "сопроводиловки" и "врезы", приличествующие беспроblemному классику. Между тем, мы у себя в стране снова и снова, я убежден, наступаем на те самые грабли, которые колотили по лбу общество и человека, воссозданных Гомбровичем. Так что его от нас или нас от него заслоняет? Родные лень и нелюбопытство? Привычные спесь и самозащита? Среди авторов, ведущих полемику с Гомбровичем, – не только поляки, что вроде бы "естественно", это и аргентинцы (ну, допустим), и американцы (им-то что эта Гекуба?), а ведь можно было взять немцев и венгров, испанцев и французов. Как бы там ни было, среди них нет и трудно представить русских. Или я ошибаюсь?

## БЕСПОКОЙНЫЙ ДУХ

*Витольд Вирпша — поэт, которого в Польше на протяжении второй половины минувшего столетия открывали, закрывали, причем надолго, и открывали снова. Продолжают его открывать и теперь, в начинающемся новом столетии. Хочется надеяться, что в новом столетии судьба его творчества будет более удачной, поскольку поэтом он был и остается новым.*

Мне Вирпша открылся в течение зимы 1965/66 годов. Я прочел сборники его стихов, чрезвычайно необычные и трудные, прочел книгу прозы, тоже необычной, прочел книгу его статей о литературе «Игра смыслов», название которой (но только название) как раз тогда надолго становилось модным в польской литературной среде. Прочел я и немногочисленные рецензии, какие нашел в журнале «Творчество»; рецензии, особенно Яна Юзефа Липского, меня ободрили, и летом 1966 го, взяв длительный отпуск за свой счет, я погрузился в библиотеке в длительные и увлекательные чтения. Читал я античных философов, от фрагментов Эмпедокла до «Физики» Аристотеля, а также некоторых современных философов и, как требовал круг интересов и характер эрудиции переводимого автора, современных физиков.

Первыми вещами Вирпши, за которые я взялся, были поэма «На тему из Горация» и стихотворение «Портрет мозга сенатора», по мотивам рисунка Леонардо да Винчи. Вещь, связанная с античностью, и вещь, связанная с Ренессансом. Тут я должен признаться, что в то лето я параллельно (безумное дело, но мне было тридцать три года, и я был полон энергии!) занимался поэзией Витольда Вирпши и Збигнева Херберта. В обоих меня поначалу привлекали античность и Ренессанс, так что основной этап переводческой работы — этап чтений и размышлений вокруг поэта — был общим для них обоих. Общего в этих поэтах, на первый взгляд, ничего. Херберта в польской критике пытались втиснуть тогда в «неоклассицизм», для Вирпши изобретали индивидуальные ярлыки: «ученая поэзия», «сциентизм». Вирпша был сугубо новым явлением в польской литературе и культуре, но, как все большие новаторы, он опирался на очень мощный и многовековой фундамент, начиная с древнегреческих поэтов-философов, как уже упомянутый Эмпедокл. Античность постоянно продолжала занимать Вирпшу и позже, Гомеру и

Горацию посвящено последнее стихотворение Вирпши, написанное в Берлине за полгода до смерти.

В то лето 1966 го благодаря Вирпше и Херберту я прочел или просмотрел все книги об античности, какие были в московской Библиотеке Ленина по-русски, по-польски и по-английски. К моему удивлению, количество их оказалось не бесконечно и не столь уж велико.

Зная, что Виктор Ворошильский, с которым мы, бывая в Варшаве, постоянно общались, дружит с Вирпшей, я послал Виктору свой перевод горацианской поэмы, Виктор переслал перевод Вирпше, от которого я получил, уже летом 1967 г., письмо из Западного Берлина, где он находился на годичной немецкой стипендии. Перевод поэмы Вирпше понравился, замечаний у него не было.

Летом 1968 г., когда мы в очередной раз были в Варшаве, Вирпша, вернувшийся из Германии, был в Польше, но не в Варшаве, а в Закопане. Туда он и пригласил меня. Три дня мы провели вместе, беседуя чаще вдвоем, в окрестных горах, но иногда и вчетвером, с Артуром Мендзыжецким и Юлией Хартвиг, а один из вечеров провели в большой компании, едва вмещавшейся в тесной комнатке в доме поэта Томаша Глюзинского и его жены.

О наших прогулках с Вирпшей я написал лет десять спустя стихотворение «Мы с ним вдвоем бродили среди скал...», Вирпша в это время был уже эмигрантом, имя его в Польше и в Москве было запретным, стихотворение появилось в моей московской книге 1980 года без посвящения, так и перевел его Юзеф Вачкув (в составленной им польской книге моих стихов «Przestrzeń otwarta», PIW, 1982), но в своей книге стихов 1993 года я перепечатал его под названием «Витольд Вирпша»:

### **Витольд Вирпша**

*Мы с ним в горах бродили среди скал,*

*по-польски собеседую. Однако,*

*седобородый, он напоминал*

*скорей всего буддийского монаха,*

*ценителя вина, цветов и птиц,*

*и мудрости, отцеженной веками.*



Он догадался. Не dokonчив стих  
цитируемый, вспомнил о Вьетнаме,  
о скульпторе ханойском и о том,  
как тот мечтал взглянуть одним глазком  
на недоступную ему Варшаву...  
Во сне, блуждая по земному шару,  
вновь вижу Польшу — тишина, закат,  
три странника на крутизне Карпат.

1977

В 1968, 1969, даже в 1970 м Вирпша еще не был в «черном списке». Но такие трудные стихи, как его, ни в каком журнале у нас в Москве не проглотили бы. Я предложил тогда в журнал «Иностранная литература» не стихи Вирпши, а большую статью «Современная польская философская поэзия». Статья была двухчастная: Херберт (философия истории и этика) и Вирпша («физика», в том широком смысле, как ее понимали древние греки, включая все естествознание, и опять-таки «этика», но и гносеология также). Статью отвергли: испугал блюстителей идеологической чистоты (а внутреннюю рецензию на рукопись моей статьи писал директор Института мировой литературы Б.Сучков) именно Вирпша, очень уж он был странным и непривычным мыслителем. Не потеряв присутствия духа, я обмыслил, написал и предложил статью-триптих «Философия истории в польской поэзии: Стафф, Ружевиц, Херберт». Эта статья, без Вирпши, тоже была отвергнута: хотя редакция критики подкрепила ее тремя положительными внутренними рецензиями трех полонистов, однако теперь новому (к счастью, кратковременному) главному редактору журнала С.Дангулову не понравились все три польских поэта вкупе с автором статьи.

А вскоре, с 1971 го, Вирпша, эмигрант, политический писатель, автор книги «Кто ты, поляк?», вышедшей на Западе, в Швейцарии, по-немецки, стал невозможен и в Польше и у нас категорически, как таковой.

Виктор Ворошильский, встретившийся с Вирпшей в Италии, передавал мне в одном из писем привет от него. Много позже из письма Виктора я узнал и о кончине Вирпши в Берлине в 1985 м. А в 1986 г., приехав в Варшаву после семи лет перерыва,

я узнал от того же Виктора адрес поэта и критика Лешека Шаруги, сына Витольда Вирпши, и Шаруга прислал мне из Западного Берлина, где он руководил польским культурным центром, страниц полтораста ксерокопий рукописей своего отца, а также все его самиздатские и тамиздатские книжки, вышедшие к тому времени. Рукописей было много, новых книг мало.

Мои публикации давних и новых переводов из Вирпши датируются 1997 (две: в журналах «Иностранная литература» и «Арион»; в журнале «Арион» появились мои переводы 1966 года — 31 год они ждали печати) и 1999 годами (в журнале «Литературное обозрение», здесь центром публикации была поэма «Апофеоз танца»; к сожалению, я не имел возможности править корректуру, и в публикации много опечаток, ошибок, иногда искажена графика). Значительная часть этих переводов вошла потом в двухтомную антологию (Н.Астафьева, В.Британишский. Польские поэты XX века. СПб, 2000). Но теперь я вижу, что из Вирпши в антологию я взял недостаточно. Мне почему-то казалось, что поэмы в антологии, хотя бы и двухтомной и 1000 страничной, будут чересчур тяжеловесны; ни одну из поэм — ни «На тему Горация», ни «Апофеоз танца» — я не включил целиком. И совершенно напрасно. Напрасно я не включил в антологию хотя бы строк сто из переведенной мною поэмы Ружевица «Et in Arcadia ego», напрасно не взял целиком хоть одну из двух маленьких поэм Пшибоса, ограничившись фрагментами. Это обеднило образ Ружевица и образ Пшибоса. А в случае Вирпши это обеднило и всю нашу книгу. Присутствие полных текстов этих поэм Вирпши — именно в силу их «тяжести» — сдвигало бы центр тяжести всего двухтомника, меняло бы представление о всей польской поэзии XX века.

Для Польши характерны «предтечи», люди, опережающие развитие мировой литературы (и не только литературы). Таких людей, естественно, бывают единицы. Вирпша — один из самых интересных и особенно далеко опережавших. Вот почему и сейчас еще он остается и недооцененным, и недоосмысленным, и недоопубликованным. Но первая монография о нем, серьезная и талантливая книга Иоанны Грондзель-Вуйчик, уже вышла (Издательство Познанского университета, 2001). Хорошо, что первая книга о Вирпше — книга молодой женщины. Это позволяет верить, что за Вирпшей — будущее. Да и за кем же, если не за Вирпшей! Это ведь поэт-мыслитель. Еще Лец шутил: «У мышления — колоссальное будущее».

Сам Вирпша к концу жизни в будущее не очень-то верил. Когда-то, в послевоенные годы, освобожденный советскими войсками из немецкого лагеря для военнопленных (Вирпша был участником сентябрьской кампании 1939 г., попал в плен, бежал, но был пойман), он поверил было в «свет с Востока», в прекрасное будущее всего человечества, но уже к концу 1950-х совершенно разуверился в прогрессе, в поступательном ходе истории. Свою книгу стихов 1960 года он назвал «Маленький вид»: «маленьким видом» он иронически именует вид гомо сапиенс, подвергая сомнению разумность «человека разумного». В поздние, эмигрантские свои годы на прошлое, настоящее и будущее человечества Вирпша смотрел одинаково мрачно. Лишь огромный талант, темперамент, страсть, великолепный интеллект поэта позволяют читателю и переводчику, читая и переводя стихи и поэмы Вирпши, находить в них не источник депрессии, а источник, как это ни парадоксально, надежды.

Меня лично восхищала поразительная многолетняя стойкость Вирпши, поэта непризнанного и не понимаемого почти никем, но продолжающего интенсивнейшим образом упорно работать, делать свое и по-своему. — У нас одна Шимборская меня понимает! — сказал он мне летом 1968 г. Он был близок к истине, его ценили лишь несколько друзей и поклонников: Ворошильский, Бохенский, Ян Юзеф Липский, молодой Эдвард Бальцежан. Вскоре их полку прибыло, добавился Станислав Баранчак, который стал активным адептом творчества Вирпши, его эссе к 60 летию Вирпши в парижском журнале «Культура» в 1979 г. звучит буквально признанием в любви. Но Баранчак и его ровесники вошли в литературу уже после событий 1968 года (они и называли себя «поколением-1968»). А новые книги Вирпши-эмигранта после 1968 г. вплоть до его кончины в 1985 году выходили — в самиздате и в тамиздате — крайне редко, очень многое не издано еще и теперь.

Вирпша был поэтом не для всех. «Никакие аргументы его теории, никакой блеск его практики не могли сделать из него “поэта для читателей”», — писал о Вирпше вскоре после его смерти Виктор Ворошильский в парижской «Культуре». И пояснял: — Слишком высоко он летал, слишком дерзко играл с поэтической мыслью и поэтической речью, слишком мало заботился о том, чтобы люди среднего или даже выше среднего уровня могли воспринять столь нетрадиционную модель литературного текста... одним словом, слишком много себе “позволял”, чтобы рассчитывать на широкое приятие и признание... Был, стало быть, Вирпша поэтом для поэтов... а прежде всего был поэтом для себя; и в конечном счете именно

потому, что он в первую очередь был поэтом для себя и поэтом для поэтов, он стал тем, чье творчество своими эманациями пронизывает, хотя и не непосредственно, не способом, заметным для всех, всю нашу современную литературу».

Говоря о том, что Вирпша «высоко летал», Ворошильский, вероятно, вспоминал мысленно и тему «полета» в поэзии и прозе Вирпши. В поэме «На тему Горация» Вирпша развивал эту тему на материале той оды Горация, которую в русской поэтической традиции называют, после державинского переложения, одой «Лебедь» («Необычайным я пареньем / От тленна мира отделяюсь...»). В польской поэзии эту оду Горация перелагал Ян Кохановский. Гораций в своей оде, опираясь на древних греков, веривших, что поэт после смерти превращается в лебедя, писал о своем полете над бескрайними пределами Римской империи как о своем бессмертии. Но Вирпшу привлекала не столько «гордыня» Горация, знавшего себе цену, сколько мотив свободного полета человека как метафора свободы.

В прозе Вирпши есть развернутая параллель гораццианской поэме о полете: сон подпоручика Квятковского, находящегося в немецком лагере для военнопленных в годы II Мировой войны (как и сам Вирпша тогда); подпоручику в лагерном бараке снится сон о полете как о возможности вырваться на свободу из несвободы. Повесть «Апельсины на колючей проволоке», изданная в 1964 г., писалась в 1946–1960 гг., задолго до гораццианской поэмы Вирпши, но уже и в повести в описании сна-полета Квятковского переключки с упомянутой одой Горация многочисленны и настойчивы, этот фрагмент повести о полете «оперенного» человека и эта поэма о полете поэта-лебедя (или поэта-«планериста»?) прекрасно комментируют друг друга взаимно, а в коротком предисловии к повести Вирпша прямо говорит, что предметом философствования в этой книге стала — свобода.

Свобода и несвобода — один из постоянных предметов размышления Вирпши. Он вообще довольно постоянен, есть у него постоянно возвращающиеся мотивы, даже словосочетания. Но диапазон его интересов огромен. Его интересует история. Интересуют естествознание, физика, физиология, вообще биология. Его интересуют законы творчества, психология личности творца, художника. Можно было бы сказать, что круг интересов Вирпши — весь круг европейской мысли, начиная от греков. Но нет, он еще шире. Не случайно он показался мне в 1968 г. похожим на буддийского монаха. Он рассказывал мне тогда о своем пребывании на

Востоке. Восток был для него «другим» миром, восточный человек — мудрец, а не интеллектуал, как европеец. Но интеллект без мудрости ущербен. Среди поздних, недавно найденных стихотворений Вирпши одно — «Ключи» — родилось из раздумий о философии древнего Китая. Вирпша, как всегда, иронизирует, играет, здесь он сталкивает конкретные «ключи от квартиры» с абстрактной философской мыслью, но, как всегда, его ирония, игра, шутка не исключают серьезности. Он серьезно относится и к бесконечности космоса, и к бесконечности пути человека в космосе, к бесконечности познания. Вечное сомнение Вирпши — это не разъедающий скепсис, а каждый раз стимул для все новых и новых попыток и путей осмысления мира, новых предположений, суждений, пусть даже взаимоисключающих в своей нескрываемой противоречивости.

Вирпша обычно неоднозначен. Но иногда горечь и отчаяние берут над ним верх.

Мрачный взгляд позднего Вирпши на историю как царство абсурда, кошмара, гротеска, в котором нет ни смысла, ни порядка, ни даже элементарной хронологии, нашел наиболее полное выражение в поэме «Апофеоз танца» (заглавной вещи одноименной самиздатской поэтической книги Вирпши 1985 года), в стихотворении «Танец одурелых» и во многих других вещах. В одном из поздних стихотворений он называет историю «пурпурным», то есть кровавым, потоком легенд, этот поток «разбрызгивается пурпуром по спине» человека, но течет он из недоступного человеку «решета». История человеку неподвластна. И в стихотворении «Василиск» люди, оказавшиеся в средневековом замке, могут оказаться узниками истории, могут вдруг оказаться замкнуты в этом замке, замкнуты в средневековье, «пока не сдохнут».

Поздний Вирпша все больше ощущает присутствие и даже всевластие иррационального в истории и в окружающей его действительности.

Два стихотворения 1980–1981 гг., составляющие как бы двухчастный цикл, — это два монолога: монолог Мерлина и монолог Нострадамуса.

И Мерлин, и Нострадамус — поэты. Полулегендарный исторический прототип Мерлина был староирландским, кельтским бардом. И предсказателем, «волхвом». В монологе Мерлина у Вирпши возникает тема «волхвов» и «владык», которая для русского читателя связана с пушкинской «Песнью о вещем Олеге», где князю противопоставлен «заветов

грядущего вестник». Мерлин Вирпши тоже противопоставляет себя, «волхва», свою власть, власти «владык», Октавиана или Ирода. Но главная тема монолога Мерлина — протест против современного «цифрового» мира, против вычислительных машин, против попыток «сосчитать» человека. И похоже, что Вирпша-1980 сочувствует Мерлину в этом. В соседнем стихотворении «Перепись населения» оказывается, что именно неточность цифр может обернуться благом: именно «зияние», несовпадение цифр подлинного и статистического числа подданных Империи Октавиана обернулось важнейшим в истории событием: уцелел младенец Иисус, спасенный родителями.

Нострадамус — тоже поэт, ведь его предсказания были изложены в стихах, в четверостишиях, толкованием которых (особенно в конце очередного столетия и тем более — тысячелетия) занималась чуть ли не вся Европа. В стихотворении Вирпши Нострадамус, предсказывающий будущее по звездам, сам же хочет произвольно менять порядок звезд и созвездий, тем самым вмешиваясь в будущее людей. Такая «власть» «астролога» уже опасна для человечества. Впрочем, на самом-то деле булыжники, которыми Нострадамус бомбардирует людей с неба, — это булыжники небесных дорог, вымощенных «благими намереньями» самих людей; эти их благие намеренья и обрушатся на их же головы.

Гордыня Мерлина и Нострадамуса не выглядит симпатичной. Но иногда гордыня художника правомерна. Такова — в стихотворении Вирпши «Рука Бога» — гордыня скульптора (Родена), который «творит Бога», ибо он изваял Руку Бога по образу и подобию своей руки. Эта гордыня — в ощущении Вирпши — творческая, творящая, рождающая.

Поздний Вирпша оставался поэтом трудным, усложненным. Лишь несколько последних, предсмертных стихотворений написаны совсем иначе — просто и прозрачно, исповедально. Таково автобиографическое стихотворение «Трудности», таково стихотворение-признание «Порядок». Впрочем, таково было и стихотворение-признание «Использовать писательски» в книге 1966 года: о переломанной судьбе, о переломанной творческой биографии (а судьба и творческая биография еще будут ломаться и ломаться):

*Как писательски использовать поломанную*

*Биографию, какое употребить искусство, чтобы*

*Она компоновалась, какие минуты выскрести*

*Ритмичным скребком, чтобы фрагменты*

*Примыкали друг к другу и были*

*Пригодны для будущего читателя?..*

В одном из последних стихотворений — «Трудности» — Вирпша упоминает о машине, наехавшей на него и переломавшей ему кости. От этой тяжелой травмы окончательно он уже не оправился.

Вирпша похоронен в Западном Берлине, на кладбище, которое называется по-немецки Ruhleben, что значит «спокойная жизнь». А его беспокойный дух по-прежнему колобродит в его стихах и поэмах, он будет и дальше будоражить думающих поэтов и думающих читателей.

Витольд Вирпша

# СТИХИ

## Рука Бога

Тело из мрамора держит меж пальцами  
Глину из мрамора. Изваянное  
Тело из мрамора ваяет неиз-  
Ваянную глину из мрамора  
(Видны следы пальцев) и в этой глине из  
Мрамора брезжат очертанья  
Человеческой головы из глины.  
Мрамор белый, тело бледное  
И ваяемая глина бледная. Пальцы  
Бога тонкие и сильные и на-  
Поминают пальцы пианиста. Рука  
Бога вырастает вертикально из слабо  
Обработанной глыбы мрамора, это  
Мрамор и в то же время твердая  
Бездна.  
Так изваял скульптор  
Ладонь Творца наподобие  
Своей ладони. Ваял он, глядя  
В зеркало и на свою конечность  
В натуре, частичный автопортрет: поскольку  
Часть равна целому; поскольку  
Гордыня схожа с любовью; поскольку



Обе они рожают.

*Париж, 10 сентября 1974*

*(книга «Апофеоз танца»)*

### **Перепись населения**

Когда Христос родился, Октавиан

Издал указ о переписи населения

Империи. Несколько позже местный сатрап

В приграничном протекторате велел

Перебить в одном городе всех

Младенцев. Доныне неизвестно, дошла ли

Весть об этом до Рима.

Ибо если б дошла, то, быть может,

Задумались бы над тем, насколько

Эта резня привела к расхождению

Официальных демографических данных

С истинной численностью населения. Но

Маловероятно, чтобы чиновников в Риме

Интересовала такая мелочь.

Важно, пожалуй, что это зияние между

Статистикой и правдой привело

В известной мере к самому большому

В истории потрясенью: по причине

Бегства трех евреев в Египет, который

Когда-то был домом неволи, теперь же

Стал домом убежища (ненадолго).

**Краткая речь Мерлина на заседании Организации  
Объединенных Наций**

Я вам не Октавиан и не Ирод. Я  
Не мягкий и не жестокий. Темный.  
И вы не постигнете суть моего могущества.  
Я расстрою ваши порядки и переиначу ваши  
Вычислительные машины, и не сосчитаете  
Ничего. Ваши уравнения будут  
Из одних неизвестных, и в этих уравнениях  
Левая сторона будет всегда равна  
Правой, и вы сможете менять знаки  
Как угодно и ничего не будете знать. Нет,  
Я не Октавиан и поэтов я не сошлю  
В Сибирь; и убийц не держу; мне подвластны  
Силы.  
Я предсказываю, что по моей воле  
Не сосчитаете ни родившихся, ни умерших;  
Ни тех, что между рождением и смертью  
Счастливы или несчастливы; сыты или  
Голодны; больны или здоровы. Не сосчитаете ни  
Одержимых, ни восхищенных и не  
Сосчитаете их грехи, ибо нет уже в  
Вас ни гордыни, ни любви.  
Спасибо.

*Берлин, май 1980*

**Краткая реплика Нострадамуса  
на заседании Организации Объединенных Наций**  
Мерлин говорил. Вольно́ ему издеваться над вами,

Трудности его понимаю; стар, недостаток воображенья;  
К тому же, чернокнижник. Моя же суть ясна:  
Порядки я не расстрою, я их обездвижу; будут  
Стоять, покуда не сбудется, что сбыться должно по звездам,  
А это я рассчитаю и вам считать уже нечего.  
Перед тем, как сбудется, я совершу операцию  
На конstellляциях и конъюнкциях. Лебедь заключает Лиру,  
Дракон поглотит Лебеда, а Дракона запрягу в оба  
Звездных Воза, и помчится с прицепом. Что, нет прицепа,  
Прицеп — не созвездье?  
Посмотрим, а вы не смейте  
Двигаться. Да, я предсказываю будущее;  
И что же есть будущее для неподвижных? Что же есть время?  
Нет никого мне подобного в прошлом, я не  
Нерон и не Самсон, ничего не сожгу  
И ничего не обрушу. Я мягок,  
Но это не мягкость на самом-то деле.  
Я жесток, но это не жестокость  
На самом-то деле. Я ужасен.  
Этого вы не поймете;  
А Мерлин не был ужасен. Оба Звездных Воза с прицепом  
(Да, а что в прицепе?) громяют по небесным дорогам,  
Мощным благими намереньями, по колдобинам. Я возница;  
Сбрасываю на ваши головы твердолобые эти булыги:  
Не двигаться, бомбардируемые.  
И не благодарить.

*Берлин, февраль 1981*

## **Нет рая**

Говорят: сад; а также: сад

Невинности; и далее: сад

Наслажденья (см. Босх). В текстах

Он не столько пространственно, сколько во времени

Локализован: это прошлое

Потерянное, утраченное по вине, и тем самым

Он также и место первой провинности.

В райский сад возвращенье бывает

Лишь во сне, в мечтании,

В местах мечтаемых. Исключается

При этом настоящее и будущее.

Верующий человек в возвращенье

В этот сад не может верить. Ибо

Верит в небо и в ад. Если

Он верит еще сильнее, то верит в

Воскресение мертвых, то есть в вечное

Пребывание тела и души в небе

(Ад, осторожности ради, выводим

За скобки). Что же, однако, делается в небе

С духом? Быть счастливым значит ли

Утратить присутствие духа?

Выведем также и дух на время

И осторожности ради за скобки.

Позже он будет нам нужен,

Но не теперь, когда мы готовимся  
Переступить порог нереальности.  
Итак, мы имеем: порог,  
Нереальность; состоянье, где  
Три измерения времени, кажется,  
Сплавилась, тигель, где  
Прошлое, настоящее и будущее  
(И много других времен и квазивремен)  
Разыгрывают меж собою битву  
В напряженной спазме одновременности:  
Натиск одновременности на  
Времена тела и души это блаженство, небо и любовь.  
Стало быть, нет рая, нет золотого века, который  
(См. Овидий) посеян был первым.  
Из райского сада был  
Выход: изгнание. Небо,  
Любовь, блаженство безвыходны. Это  
Перманентная катастрофа, где  
Невозможна провинность и где  
Катастрофа длится неустанно  
В нереальности.  
Мы, однако, можем  
Распознать (уж коль мы люди  
Верующие): нереальность это гул,  
Катастрофа это напряжение. Гул  
Напряженья, любопытство к гулу, напряжение

Любопытства: это не рай, не невинность;  
Это воскресение духа,  
Преступание второго порога,  
Если уверовал в первый.

*Берлин 1976*

# ВЫПИСКИ ИЗ КУЛЬТУРНОЙ ПЕРИОДИКИ

Разные причины приводят к тому, что о России в Польше пишут все чаще, однако то, что пишут, – и в демократическом пространстве это выглядит само собой очевидным – трудно объять какой-то общей формулировкой. Одно не подлежит сомнению: в этих текстах все чаще звучит тревога, отражающая, с одной стороны, осознание эрозии польской восточной политики, до сих пор остававшейся цельной; с другой – по-прежнему открытый вопрос об эволюции посткоммунистических систем наших восточных соседей. Эти вопросы стали более отчетливыми после поездки польского президента в Россию.

На первой странице "Тыгодника повшехного" (2204, №41) Анджей Луковский рассматривает сложившееся положение в статье "По обе стороны зеркала":

"С тех пор, как Польша перестала быть ПНР, Варшаве и Москве трудно найти общий язык. Российские власти не способны связно определить формы сосуществования с задиристым соседом, который до недавнего времени слушал приказы из Москвы как Десять заповедей, а теперь возымел амбиции быть полноправным членом европейского сообщества. Раздраженная Москва кидается от стенки к стенке: то не замечает Польши на карте, то истерически реагирует на всякую мелочь, недоброжелательное высказывание по ее адресу или отличающееся мнение в вопросах второстепенного значения".

Тут я сделаю краткое отступление, так как вопрос карты представляется мне с некоторого, уже довольно долгого времени весьма существенным. Часто ездя в Германию, я замечая в высшей степени раздражающую, но много лет механически повторяемую там по разным случаям формулировку – в последний раз я услышал эти слова при представлении русской литературы (кстати, весьма компетентной и богатой): немцы называют Россию "нашим восточным соседом". Или я не понимаю слова "сосед", или у немцев тоже появляется склонность (подсознательная?) "не замечать Польшу на карте". Когда такая близорукость обнаруживается одновременно на востоке и на западе, это

вызывает довольно драматические ассоциации... Вернемся, однако, к комментарию Луковского:

"Попробуем упорядочить польско-российскую солянку и поискать ответа на вопрос, зачем в таком случае Александр Квасневский отправился в Москву, натолкнувшись на волну критики – как в Польше, так и в России. Если он поехал, чтобы поговорить, ибо разговор всегда лучше, чем взаимные оскорбления, то это аргумент верный, но слабый. Глава государства не может ехать „поболтать“ в чужую страну, вдобавок не проявляющую желания разговаривать. А если для того, чтобы подписать двусторонние экономические соглашения, то еще хуже. Откуда взялась идея подписывать отдельные соглашения, если пока еще не ратифицирован договор о партнерстве и сотрудничестве между Евросоюзом и Россией, расширенный на новые страны-члены ЕС? (...) Визит президента в Москву оказался на первых страницах польских газет, корреспонденты соревновались в выискивании интересных сюжетов, а телевизионные новости начинались с подробных репортажей. Между тем российское телевидение едва отметило это событие. В нескольких газетах появились дежурные упоминания. И нечему удивляться. Из-за стен Кремля Польша не видна. В российской доктрине внешней политики Варшава по-прежнему не рассматривается как важный, самостоятельный субъект. (...) Российская печать относится к Польше плохо. Визиту президента Квасневского предшествовала направляемая сверху недружественная кампания в СМИ".

Автор обращает внимание на попытку реконструкции зоны российского влияния за пределами СНГ при помощи угрозы манипуляции поставками нефти.

"Ибо у кого сегодня доступ к нефти, у того и власть, – подчеркивает Луковский и прибавляет: – Сигналы, посылаемые из Кремля, можно было бы сжато изложить так: не суйте нос в нашу „демократию“, и вы сможете делать с нами дела. А если будете нас поучать, давать убежище чеченским эмиссарам и плохо писать о Путине, ничего не получите".

Вывод Луковского таков:

"Если принципы торговли не записать подробно в договорах, то в случае недоразумений не на что будет ссылаться. Если не определить ясно, на каком языке мы говорим – демократии или же шантажа в стиле советского министра Громыко, то нам будет трудно договориться".



И это самая истинная правда: основная трудность в отношениях между Польшей и Россией, как политических, так и экономических, – вопрос языка. Я лично не считаю, что политики обеих сторон сумеют решить этот вопрос, однако, с другой стороны, нравится это нашим партнерам или не нравится, а России придется в будущем разговаривать с Польшей тем же языком, каким она будет говорить с Евросоюзом, – другой возможности нет. Но прежде чем это произойдет, может быть, стоит принять во внимание язвительные замечания Войцеха Мазовецкого, сделанные по поводу поездки Квасневского в статье "Разыскиваемая" ("Пшекруй", 2004, №41):

"Как это Кремль не поучает ни французскую, ни немецкую, ни британскую прессу, а только одну польскую? Неужто пресса в этих странах не заметила правды о Беслане столь же проницательно, как наша? Ну уж настолько-то мы о себе не воображаем. Попросту президент Путин не может себе позволить их критиковать. Это особенно ощутимо свидетельствует о слабости нашей позиции, в том числе и в рамках ЕС. Нас не будут уважать, если мы не приведем к сближению польской и общеевропейской внешней политики. В противном случае мы можем быть уверены в одном: Путин всегда будет безжалостно играть на этом".

Да, и будет разговаривать с Квасневским на языке "шантажа советского министра Громыко".

Разумеется, вопрос языка – это, хотя бы в некоторой степени, функция понимания государства и общества. Отсюда и то внимание, с которым мир, а значит и Польша, наблюдает перемены в России, происходящие в этой сфере. Этой проблематикой занялся политолог Влодзимеж Мартиняк на страницах "Европы" (2004, №27), очень хорошо редактируемого культурного приложения (выходит по средам) к заурядной, собственно говоря, бульварной газете "Факт". В статье "Путин и террористы" он пишет:

"Первым откликом на внесенные Владимиром Путиным предложения перемен в устройстве России было огромное недоумение. Хотя некоторые из этих проектов (например, реформа закона о выборах) обсуждались уже несколько месяцев, никому не приходило в голову, что ответ на серию террористических актов окажется таким радикальным и одновременно настолько оторванным от сути дела. (...) Реформа закона о выборах и замена существующей смешанной системы системой исключительно пропорциональной слабо связана или вовсе не связана с вопросом терроризма. Цель

большинства объявленных реформ – скорее ослабление позиций глав регионов, а не борьба с терроризмом".

И далее, анализируя язык Путина, Мартиняк пишет:

"Трудно не заметить, что большинству его речей присуща одна характерная черта, которая особенно явно обнаружилась в двух выступлениях, посвященных выводам из трагедии в Беслане. Путин любит пафос и высокий стиль, когда выступает как государственный муж, озабоченный будущим своей родины. В таких ситуациях он часто использует обороты, почерпнутые из имперского политического словаря. Однако когда „государственный муж" начинает формулировать конкретные задачи, которые должно выполнить государство и его органы, он тут же превращается в заурядного чиновника. (...) В этих фрагментах его выступлений не видно стратегического проекта, зато от них веет бюрократической скукой и отраслевой банальностью".

Что ж, возможно, "вопросы языкознания" и не принадлежат к тем, которыми занимается политология (а жаль), однако стоит обратить внимание на тот факт, что это в конце концов логическое дополнение, а не двойственность: если посмотреть внимательней, содержание "имперского политического словаря" укоренено в бюрократической лексике. Зато открытым остается вопрос, стало ли оживление такого языка реакцией Путина на терроризм, или, наоборот, теракты создали удобный предлог для активизации этого языка? Мартиняк выбирает в этой альтернативе второй ответ и при этом подчеркивает:

"Каждая новая реформа Путина пожирает хвост предыдущей. На протяжении нескольких лет органы власти в России заняты главным образом самими собою, а не решением необычайно трудных проблем этой страны, в том числе и тех, что составляют причину терроризма. Международная общественность должна критиковать президента России не только за то, что он не знает меры в борьбе с терроризмом, но еще и за то, что терроризм он рассматривает как повод постоянно совершенствовать и лелеять свою любимую „вертикаль власти"".

Было бы, однако, столь же полезно проанализировать язык, которым Путин высказывается на тему терроризма, ибо тут выявляется и мышление о государстве и обществе. А также о собственном будущем самого Путина. По этому вопросу Мартиняк высказывается недвусмысленно:

"На постсоветском пространстве воплощаются различные варианты сохранения власти после двух мандатов. В расчет входит либо продление мандата, либо отмена ограничений на число мандатов. Возможна также передача власти внутри семьи. Президент Леонид Кучма предложил более „изящный" проект, предусматривающий увеличение полномочий премьер-министра и выборы президента парламентом. Способ решения этого вопроса на Украине окажет серьезное влияние на развитие событий в России. По сути предложения Путина идут в том же направлении, создавая на региональном уровне прецедент избрания единоличного органа исполнительной власти местным законодательным собранием, а не, как это было до их пор, на всеобщих выборах. Этот прецедент может быть затем использован на федеральном уровне. Эти изменения можно было бы считать результатом эволюции политического устройства, если бы не одно обстоятельство: путь к этим изменениям открыла в России последняя волна террористических актов. Таким образом, это не только результат постепенной эволюции, как в других постсоветских государствах, но и результат внезапной атаки на конституционный строй государства. (...) Обещание устойчиво ограничить демократические процедуры доказывает, что террористы действительно атаковали конституционное устройство России. Предложения, выдвинутые Путиным, по существу представляют собой результат совместного „законодательства" президентской администрации и террористов. Если эта тенденция укрепитя и полномочия конституционных органов государства будут и дальше ограничиваться, президент и террористы станут единственными центрами власти в России".

Признаюсь, что логика этого рассуждения несколько меня поражает, но лишь до известной степени: в конце концов, фундаментально понимаемые "спокойствие и порядок" столь же успешно, как и терроризм, парализуют возможность функционирования структур гражданского общества. Но на моей памяти до сих пор не было ни одного государства, в котором две эти силы действовали бы одновременно и суверенно. Обычно государственные "спокойствие и порядок" наводятся с помощью террора, но это мы уже проходили. Поэтому вопрос о смысле подзаголовка статьи Влодзимежа Мартиняка - "Кто правит Россией?" - может незаметно приобрести странную язвительность.

Как бы полемизируя с такими гипотезами, бывший министр иностранных дел Польши Анджей Олеховский пишет в статье "По-прежнему одни?" ("Политика", 2004, №41):

"Путь в Москву тоже ведет через Брюссель. Очередные „трудные" (т.е. неудачные) официальные встречи должны бы уже научить нас, что одни мы мало чего добьемся. Тем более, что наши мечты заходят далеко: вопреки истории мы хотим, чтобы Россия стала нашим стабильным соседом, прочно закрепленным в европейской архитектуре, лишенным имперских амбиций, практикующим демократию, права человека и рыночную экономику. Россия, несмотря на то, что она прошла уже долгий путь (еще 15 лет назад это была „империя зла"), все еще далека от этого идеала и по-прежнему экспортирует ненадежность и неустойчивость. К идеалу мы, однако, приблизимся не путем „нажима на Кремль", но высоко и упорно ставя вопрос о месте назначения России. Нет сомнения, что Россия принадлежит к европейской семье во всех ее аспектах: культурном, экономическом, политическом. Раздающиеся там фантазии насчет „азиатского выбора" принадлежат лишь сверхутопленным интеллектуалам да политикам державной направленности. Отсутствие концепции устойчивого размещения России в европейской постройке непонятно и небезопасно. Россия, лишенная „европейского будущего", оставленная вне поля тяготения европейских норм и стандартов, может всего лишь совершенствовать свою особость и продолжать прежнюю историю. А какой у нее еще выбор? Место члена „большой восьмерки", призываемого к глобальной ответственности? „Матушки России", которую умоляют о помощи сироты бывшего СССР? Потенциального партнера в создании противовеса Америке? Вся эта опасная напряженность накладывается на автократические тенденции и великодержавные грезы российской общественности. Поэтому мы прежде всего должны побудить европейцев и американцев (...) выработать такое место для этой страны в атлантическом сообществе, которое приносило бы пользу Европе и удовлетворение России".

Анджей Олеховский, по-видимому, считает, что перед Россией стоит некая историческая альтернатива. Говоря, что Россия могла бы продолжать свою историю – и опасаясь этого, – он полагает, что в этом случае она останется вне поля тяготения норм и принципов европейской политики. Выходом, как я понимаю, он считает принципиальный перелом и изменение языка политики – как внутренней, так и внешней. Возможно ли это? Такой вопрос, наверное, мучает десятки, а то и тысячи политологов. Мучает ли он самих российских граждан? И кого из них? Принадлежит ли к таковым Путин? Эти вопросы, по-видимому, продолжают оставаться открытыми, так же, как открытым остается вопрос о возможности влияния политики Евросоюза на то, что происходит в России. Когда Олеховский

говорит о российской общественности, не до конца ясно, о ком идет речь. Но одно вроде бы не подлежит сомнению: существуют такие течения внутри этой общественности, политическая направленность которых пробуждает надежды на то, что Россия отойдет от традиции автократических и великодержавных грёз. Только вот на последних выборах в думу именно эти течения потерпели сокрушительное поражение.

# ЛЕТОПИСЬ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

• В сентябре в Люблине прошел II Конгресс христианской культуры – единственная в Европе подобного рода встреча. В нем приняли участие гости со всего континента – в частности, московский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, о. Томаш Галик из Праги и философ-французенка Шанталь Дельсоль. По инициативе митрополита Люблинского архиепископа Юзефа Житинского ученые, деятели культуры, политики и философы собрались, чтобы обсудить вопрос влияния христианства на строительство объединенной Европы. Архиепископ Житинский открыл дискуссию о честности политиков, поставив вопрос, почему кризис доверия к политикам углубляется столь быстро. "Этот процесс зашел так далеко, что, боюсь, честные люди будут сторониться политики, из-за чего это негативное отношение будет только усиливаться", – сказал архиепископ. Участники конгресса посмотрели волнующую мистерию "Поэма о месте", разыгранную на пустой площади возле люблинского замка. До войны там была ключом жизнь еврейского квартала, который затем сравняли с землей немцы. Мистерия завершилась зажжением единственного фонаря, сохранившегося там со времен войны. Теперь он будет светить днем и ночью. В заключительном обращении участники конгресса написали: "Европейская культура взяла все лучшее из иудеохристианской концепции человека. Ее развитие определяли в равной мере основатели университетов и строители соборов. В нашу общую историю вписан также опыт Освенцима и Колымы. Поэтому память о трагических событиях обязывает к критике тех направлений в культуре, которые провозглашают окончательную смерть человека, ставя его в один ряд с животным миром". (Подробнее см. в этом номере статью Петра Войцеховского на стр. 28.)

• На 17-м Съезде польских историков рассматривался прежде всего вопрос, какие документы нашего времени следует сохранить, чтобы потомки могли всесторонне описать современную нам историю. Проф. Норман Дэвис обратил внимание на то, что "в современном мире появляется огромное количество информации. Как выбрать основное, как все это оценить? Тем более, что множатся ложные, искаженные

и односторонние сведения о прошлом, которых никто не опровергает".

- О национальной стратегии развития культуры говорил на специальной пресс-конференции министр культуры Вальдемар Домбровский. Министр с удовлетворением отметил, что представленный недавно бюджет министерства – лучший за все 15 лет существования Третьей Речи Посполитой.

"Стратегия предполагает, что, планируя культурную жизнь, мы должны признать ее общим благом, взглянуть дальше срока полномочий очередного правящего блока и дальше групповщины", – сказал Домбровский. Золотые слова. Лишь бы только его преемники думали так же.

- Премию Фонда польской культуры "Золотой жезл" и прилагающиеся к ней 100 тыс. злотых жюри присудило знаменитому драматургу Славомиру Мрожеку за творчество в целом. После возвращения из Мексики Мрожек уже восемь лет как живет в Кракове. "Он не принимает активного участия в публичной жизни, – пишет Марек Микос. – Это проницательный, самоироничный мудрец, который следит за тем, чтобы мы ни на минуту не впали в самодовольство, так как это грозит катастрофой. Хорошо, что есть такой человек". Мрожек – шестой лауреат "Золотого жезла". Первым был Ежи Гедройц.

- В Варшаве на 76-м году жизни скончался Ежи Лисовский, главный редактор журнала "Творчость" ("Творчество"), знаток и прекрасный переводчик французской литературы на польский, а также польской литературы на французский.

- Вышла давно ожидаемая книга замечательного репортера Рышарда Капустинского "Путешествия с Геродотом". Рассказывая о своем герое, автор, в частности, сказал: "Часто история сбора информации о каком-то событии бывает гораздо интереснее самого события. Именно так было с Геродотом. Меня страшно интриговало, как он проникал туда, где хотел оказаться, как искал нужных людей, как убеждал их рассказывать о себе, о своей жизни, как слушал и запоминал. Это целая репортерская эпопея (...) Он не был купцом, дипломатом или военным. Он проторил свой собственный путь, которым шел, – путь, освещенный его любознательностью и восхищением миром". Капустинский рассказал также о влиянии, которое оказали на него работы античного историка: "Я осознал, что не могу смотреть на мир сквозь призму сенсационных событий. Современные СМИ руководствуются девизом: если нет события, то нет и мира.

Увы, погоня за новостями искажает образ мира. Земля не такая, какой показывают ее информационные передачи".

- "Эта книга вызовет эмоции и полемику, но прежде всего, в отличие от многих награждаемых и премируемых изданий, ее будут читать", – написал о книге Януша Гловацкого "Из головы" Кшиштоф Маслонь. Януш Гловацкий – один из интереснейших современных польских писателей, известный насмешник, пишущий фельетоны, киносценарии, театральные пьесы и, наконец, романы. И хотя ему уже за шестьдесят, он все еще умеет удивить читателя. "Из головы" – книга автобиографическая. Рецензенты газеты "Жечпосполита" пишут о ней так: "Циник и насмешник – такую репутацию Гловацкий заработал себе тяжелым трудом. Однако что можно сказать после прочтения волнующих глав о Варшавском восстании, открытии памятника погибшим в Едвабне или нападении на Всемирный торговый центр, свидетелем которого ему довелось быть? Эту книгу написал человек, которого мир ужасает, пессимист с огромным чувством юмора. Еще раз подтвердилась истина, что ирония – это защитные цвета большой чуткости".

- Интерес критики вызвала также книга Рышарда Матушевского "Алфавит. Избранное из памяти 90-летнего старца". Что представляет собой этот "Алфавит"? Как пишет Рышард Марек Гронский, это "том в пятьсот страниц, описывающий жизнь и нравы (...) Обо всем этом рассказывает свидетель, наблюдатель и активный участник событий, вошедших в историю литературы, политики, интеллектуальной моды (...) Автор "Алфавита" – это (...) связующее звено между старой и новой эпохами. Он подсаживался за столик к Гомбровичу в "Зодиак", видел знаменитый столик скамандритов в "Земянском", заглядывал к Мажецу, где комментировал действительность Антоний Слонимский, бывал в кофейне Госиздата и, наконец, (...) обогащал своими познаниями полониста и критика столик в "Читальнике" (...) Записанные на пленке памяти голоса свидетельствуют о высоком классе этой книги – лучшего учебника литературы".

- Войцех Кучок не ограничился получением главной польской литературной премии "Нике" (см. предыдущий номер "Новой Польши"). Снятый по мотивам его прозы дебютантский фильм Магдалены Пекож "Полосы" удостоился "Золотых львов" – премии за лучший фильм на Фестивале польских фильмов в Гдыне, и еще нескольких премий фестиваля – в частности, зрительской. Другие гдыньские премии достались "Свадьбе"



Войцеха Смажовского (специальная премия жюри) и фильму Пшемислава Войцешека "Вниз по разноцветному холму" (за лучшую режиссуру). Подводя итоги фестиваля, Тадеуш Соболевский написал: "Так, значит, отечественное кино не переживает упадок, но наоборот – пытается встать на ноги, заговорить собственным голосом? Кино ищет новые способы, чтобы преодолеть терзающее нас чувство разочарования, беспомощности, тревоги. Прежнее польское кино в свои лучшие времена играло терапевтическую роль – избавляло от комплексов, приобретенных вследствие трагической истории и больного общественного строя. Сегодня нам нужна совсем другая терапия (...) надежды (...) Это уже не надежда на великое изменение мира, как раньше. Речь идет о том, чтобы самому найти путь к преображению, отыскать точку опоры, пространство внутренней свободы".

- Премию за лучший сценарий получил в Гдыне Юлиуш Махульский, написавший сценарий к собственной комедии "Винчи". Мастер комедии и юмористического детектива не обманул ожиданий своих поклонников и на этот раз. "Винчи" – это превосходно построенная, выдержанная в прекрасном темпе детективная комедия с замечательными ролями Яна Махульского и дебютантки Камиллы Баар. Действие разворачивается вокруг попытки украсть самую известную из хранящихся в польских музеях картину – "Даму с горностаем" Леонардо да Винчи. Отсюда и название фильма. И хотя знатоки придираются к тому, что в фильме слишком мало философии и глубоких подтекстов, зрители веселятся вовсю.

- В залах картинной галереи "Захента" прошла выставка, посвященная 100-летию варшавской Академии художеств. Моника Малковская пишет о ней так: "Как правило, юбилейные выставки бывают скучными и помпезными, однако авторам экспозиции, подготовленной к 100-летию варшавской Академии художеств, удалось этого избежать. Из истории вуза они выбрали последние 60 лет и с исключительной честностью проанализировали их, не обходя молчанием ошибок и искривлений соцреализма. Их намерения хорошо отражает название выставки: "Долг и бунт"".

- В течение нескольких дней в варшавской Национальной библиотеке можно было посмотреть очень необычную выставку. На ней были представлены ранние, никогда не выставлявшиеся работы Винcenta ван Гога. Засунутые в свое время семьей художника на какой-то чужой чердак, они появились на рынке в 30-е годы. По словам организаторов выставки, в 1938 г. некий голландский коллекционер приобрел

три папки с 250 работами из ящиков, лежавших на том чердаке. Эти работы вместе со всеми остальными вскоре отправятся в США. На 2005 г. запланирован торжественный показ всех найденных произведений. Между тем четыре картины, написанные маслом, 11 рисунков и две акварели из этого комплекта были показаны в Польше – сначала в Варшаве, а затем в Седльце и в Сталёвой-Воле.

- "С некоторых пор этот фестиваль перестал лелеять классиков XX века и занялся по-настоящему современной музыкой, – пишет о последней "Варшавской осени" Яцек Марчинский. – Слушателям (...) все чаще приходится иметь дело с музыкой, создающейся чуть ли не у них на глазах и часто не выходящей за рамки посредственности (...) "Осень" привлекает прежде всего молодых слушателей, интересующихся всем новым. Залы, в которых проходили в этом году концерты, ломились от публики, так что иногда двери просто оставляли открытыми, чтобы стоящие снаружи могли послушать".

- В этом году в фестивале "Wratislavia Cantans" приняли участие коллективы из 14 стран. Многие из них вызвали восторженную реакцию слушателей. Этот фестиваль – один из самых необычных. "На протяжении десятилетий не было в мире фестиваля, построенного таким образом, – пишет Дорота Шварцман. – Организованный в 1966 г. фестиваль "Wratislavia Cantans" ("Поющий Вроцлав") был изначально задуман как ораториально-кантатный. В старинных интерьерах вроцлавских церквей зазвучали монументальные и камерные вокально-инструментальные сочинения разных эпох. Человеческий голос, по праву считающийся совершеннейшим и самым естественным музыкальным инструментом, возвышенные, трогательные слова, монументальность, порождающая ощущение мощи, – благодаря всему этому публика долгие годы до краев заполняла просторные нефы, сидела на ступенях и амвонах. Фестиваль был праздником, охватывавшим весь город". Пожалуй, так это выглядит и сейчас, разве что концерты проходят не в одном лишь Вроцлаве, но и во многих других городах Нижней Силезии. В будущем году фестиваль будет праздновать свое 40-летие. Ничего удивительного, что уже сейчас начинаются дискуссии о формуле и программе предстоящего праздника музыки. Будем надеяться, что его уровень будет не ниже, чем в этом году.

- Уже в восьмой раз в Варшаве прошел Фестиваль науки, организованный под покровительством всех столичных вузов и Польской Академии наук. В этом году на фестивале были затронуты следующие темы: "Гены против мемов", "Польский

патриотизм", "Стресс наш насущный", "Природа времени и пространства: физики и философы", "Теория заговора", "Этическая революция: групповая фотография 2004 года" и "Тракт философов". Программный манифест Фестиваля науки гласит: "В 1989 году мы начали менять польскую жизнь. Все началось с гражданских свобод, демократических принципов и институтов. Однако этого недостаточно. Сегодня мы стоим перед другим, быть может, более трудным вызовом: каким образом сделать так, чтобы в объединяющейся Европе мы были равноправными партнерами, а не только рабочими или техниками, воплощающими чужие идеи? Решающую роль здесь сыграет конкурентоспособность польских товаров на мировых рынках, а в расчет будут приниматься не физические усилия, но научная мысль, умело претворенная в жизнь с помощью техники (...) Необходимо убедить не только польских политиков, но и все общество, что инвестиции в науку окупаются (...) От уровня науки, от степени ее применения и образованности общества будет зависеть, сможем ли мы понимать мир и существовать в нем. Фестиваль науки – это вклад польской научной среды в приближение лучшей Польши". Или, иными словами, отсутствие инвестиций в науку – это инвестиция в невежество.